

Владимир
НАБОКОВ

Письма к Вере

{ Биографии,
автобиографии,
мемуары }

18+

Биографии, автобиографии, мемуары

Владимир Набоков

Письма к Вере

«Азбука-Аттикус»

2014

УДК 821.161.1+821.111(73)
ББК 84(2Рос-Рус)6+84(7Сое)

Набоков В. В.

Письма к Вере / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус»,
2014 — (Биографии, автобиографии, мемуары)

ISBN 978-5-389-14335-7

Владимир и Вера Набоковы прожили вместе более пятидесяти лет — для литературного мира это удивительный пример счастливого брака. Они редко расставались надолго, и все же в семейном архиве сохранилось более трехсот писем Владимира Набокова к жене, с 1923 по 1975 год. Один из лучших прозаиков XX века, блистательный, ироничный Набоков предстает в этой книге как нежный и любящий муж. «...Мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы», — написал Набоков в 1924 году. Вера Евсеевна была его музой и первым читателем, его машинисткой и секретарем, а после смерти писателя стала хранительницей его наследия. Письма Набокова к жене впервые публикуются в полном объеме на языке оригинала. Подавляющее большинство из них относится к 1923–1939 годам (то есть периоду эмиграции до отъезда в Америку), и перед нами складывается эпистолярный автопортрет молодого Набокова: его ближайшее окружение и знакомства, литературные симпатии и реакция на критику, занятия в часы досуга, бытовые пристрастия, планы на будущее и т. д. Но неизменными в письмах последующих лет остаются любовь и уважение Набокова к жене, которая разделила с ним и испытания, и славу. Содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1+821.111(73)
ББК 84(2Рос-Рус)6+84(7Сое)

ISBN 978-5-389-14335-7

© Набоков В. В., 2014
© Азбука-Аттикус, 2014

Содержание

Хронология	9
Конверты для «Писем к Вере»	13
Письма к Вере	33
1. Ок. 26 июля 1923 г.	33
2. 8 ноября 1923 г.	35
3. 30 декабря 1923 г.	37
4. 31 (?) декабря 1923 г.	38
5. 8 января 1924 г.	40
6. 10 января 1924 г.	42
7. 12 января 1924 г.	44
8. Не позднее 14 января 1924 г.	46
9. 16 января 1924 г.	47
10. 17 января 1924 г.	49
11. 24 января 1924 г.	50
12. 13 августа 1924 г.	52
13. 17 августа 1924 г.	53
14. 18 августа 1924 г.	54
15. 24 августа 1924 г.	55
16. 19 января 1925 г.	57
17. Приблизительно март-апрель 1925 г.	58
18. 14 июня 1925 г.	59
19. 19 августа 1925 г.	60
20. 27 августа 1925 г.	61
21. 28 августа 1925 г.	62
22. 29 августа 1925 г.	63
23. 30 августа 1925 г.	64
24. 31 августа 1925 г.	65
25. 31 августа 1925 г.	66
26. 1 сентября 1925 г.	67
27. 2 сентября 1925 г.	68
28. 2 сентября 1925 г.	69
29. 1925 (?)	70
30. 26 апреля 1926 г.	71
31. 2 июня 1926 г.	72
32. 3 июня 1926 г.	74
33. 4 июня 1926 г.	75
34. 5 июня 1926 г.	77
35. 6 июня 1926 г.	78
36. 7 июня 1926 г.	79
37. 8–9 июня 1926 г.	81
38. 9 июня 1926 г.	83
39. 10 июня 1926 г.	84
40. 11–12 июня 1926 г.	85
41. 12 июня 1926 г.	86
42. 13 июня 1926 г.	87
43. 14 июня 1926 г.	88

44. 15 июня 1926 г.	89
45. 16 июня 1926 г.	91
46. 17 июня 1926 г.	92
47. 18 июня 1926 г.	93
48. 19 июня 1926 г.	95
49. 20 июня 1926 г.	96
50. 21 июня 1926 г.	97
51. 22 июня 1926 г.	98
52. 23 июня 1926 г.	100
53. 24 июня 1926 г.	101
54. 25 июня 1926 г.	102
55. 26 июня 1926 г.	103
56. 27 июня 1926 г.	104
57. 28 июня 1926 г.	105
58. 29 июня 1926 г.	107
59. 30 июня 1926 г.	108
60. 1 июля 1926 г.	109
61. 2 июля 1926 г.	111
62. 3 июля 1926 г.	113
63. 4 июля 1926 г.	115
64. 5 июля 1926 г.	117
65. 5 июля 1926 г.	119
66. 6 июля 1926 г.	120
67. 7 июля 1926 г.	122
68. 8 июля 1926 г.	123
69. 9 июля 1926 г.	126
70. 10 июля 1926 г.	127
71. 11 июля 1926 г.	129
72. 12 июля 1926 г.	131
73. 13 июля 1926 г.	132
74. 14 июля 1926 г.	133
75. 15 июля 1926 г.	134
76. 16 июля 1926 г.	136
77. 17 июля 1926 г.	138
78. 18 июля 1926 г.	139
79. 19 июля 1926 г.	140
80. 22 декабря 1926 г.	141
81. 23 декабря 1926 г.	142
82. 18 апреля 1929 г.	143
84. Ок. 9 мая 1930 г.	144
85. 12 мая 1930 г.	145
86. 12 мая 1930 г.	146
87. 16 мая 1930 г.	147
88. 17 мая 1930 г.	148
89. 19 мая 1930 г.	149
90. 20 мая 1930 г.	150
91. 22 мая 1930 г.	151
92. 23 мая 1930 г.	152
Конец ознакомительного фрагмента.	153



Владимир Набоков Письма к Вере

Vladimir Nabokov
LETTERS TO VERA

Copyright © 2014, Dmitri Nabokov
All rights reserved
Photographs © Penguin Books LTD



Комментарии
Ольги Ворониной и Брайана Бойда

Вступительная статья
Брайана Бойда

Перевод статьи и комментариев
Александры Глебовской

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© А. Глебовская, перевод статьи и комментариев, 2017

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство
КоЛибри®

Хронология

Хронология предназначена для того, чтобы быстро соотносить письма с событиями в жизни Набоковых. В ней приведены только 1) основные даты жизни В. В. Набокова и его близких родственников; 2) даты выхода в свет набоковских романов и автобиографии; 3) даты разлук В. В. Набокова и его жены, во время которых он отправлял ей письма (периоды расставаний отмечены курсивом).

1871 Родился Владимир Дмитриевич Набоков.

1876 Родилась Елена Ивановна Рукавишникова.

1897 Свадьба В. Д. Набокова и Е. И. Рукавишниковой.

1899, 23 апреля Родился Владимир Владимирович Набоков.

1900 Родился Сергей Владимирович Набоков.

1902, 5 января Родилась Вера Евсеевна Слоним.

1903 Родилась Ольга Владимировна Набокова (в замужестве Шаховская, затем Петкевич).

1906 Родилась Елена Владимировна Набокова (в замужестве Скуляри, затем Сикорская).

1911 Родился Кирилл Владимирович Набоков.

1917 Февральская и Октябрьская революции; в конце года Набоковы покинули Петроград и уехали в Крым.

1919, апрель Набоковы перебираются в Грецию, а потом (в мае) в Лондон.

1919, октябрь В. В. Набоков поступил в Тринити-колледж, Кембридж, С. В. Набоков – в Оксфорд.

1920 В. Д. Набоков перевозит жену и младших детей в Берлин, в то время центр русской эмиграции, и становится основателем и главным редактором либеральной русскоязычной газеты «Руль».

1921 В. В. Набоков, с 1916 г. публиковавшийся под своим именем, берет псевдоним В(ладимир) Сирин.

1922, 28 марта В. Д. Набоков убит в Берлине русскими правыми экстремистами.

1922, июнь В. В. Набоков завершает образование в Кембридже и переезжает к родным в Берлин.

1923, январь Семья Светланы Зиверт вынуждает ее разорвать помолвку с В. В. Набоковым.

1923, 8 мая Знакомство В. В. Набокова и Веры Слоним на эмигрантском благотворительном балу в Берлине.

1923, май В. В. *Набоков уезжает в Солье-Пон в Варе, на юге Франции, где работает на ферме.*

1923, ок. 18 августа В. В. Набоков возвращается в Берлин и в сентябре начинает встречаться с Верой Слоним.

1923, ок. 29 декабря *Семья Набоковых уезжает в Прагу; В. В. Набоков сопровождает родных и помогает им обосноваться на новом месте.*

1924, 27 января В. В. Набоков возвращается в Берлин.

1924, 12–28 августа В. В. *Набоков живет у матери в Праге и Добржиховице, Чехословакия.*

1925, 15 апреля Свадьба В. В. Набокова и Веры Слоним в Берлине.

1925, ок. 16 августа В. В. *Набоков сопровождает своего ученика Александра (Шуру) Зака в Сопот, приморский курорт в Померании, а потом в походе по югу Германии (Фрайбург и Шварцвальд).*

- 1925, 4 сентября Вера Набокова присоединяется к мужу и А. Заку в Констанце.
- 1926, 1 июня – ок. 21 июля Вера Набокова уезжает в немецкий Шварцвальд для лечения в санатории (депрессия, тревожность, потеря веса).
- 1926 Публикация романа «Машенька».
- 1926, 22–26 декабря В. В. Набоков посещает родных в Праге.
- 1928 Публикация романа «Король, дама, валет».
- 1929 Публикация романа «Защита Лужина» в журнале «Современные записки».
- 1930, 12–25 мая В. В. Набоков уезжает в Прагу навестить родных и выступить с чтением своих произведений.
- 1930 Публикация романа «Соглядатай» в журнале «Современные записки».
- 1931 Публикация романа «Подвиг» в журнале «Со временные записки».
- 1932, ок. 3–20 апреля В. В. Набоков навещает родных в Праге.
- 1932, май Публикация романа «Камера обскура» в журнале «Современные записки».
- 1932, октябрь В. В. Набоков с женой, двоюродным братом Николаем Набоковым и его женой Натальей две недели отдыхает в Кольбсхайме под Страсбургом; Вера Набокова возвращается в Берлин 13 октября; В. В. Набоков 18 октября уезжает в Париж, ставший новым центром русской эмиграции, для участия в русских и французских литературных вечерах, подписания договоров, установления деловых контактов; возвращается через Бельгию.
- 1932, ок. 28 ноября В. В. Набоков возвращается в Берлин.
- 1934 Публикация романа «Отчаяние» в журнале «Современные записки».
- 1934, 10 мая Родился Дмитрий Владимирович Набоков.
- 1935 Начало публикации романа «Приглашение на казнь» в журнале «Современные записки».
- 1936, 21 января – 29 февраля В. В. Набоков уезжает в Брюссель и (29 января) в Париж для выступлений с чтением своих произведений и установления деловых контактов.
- 1936, ок. 9 – ок. 22 июня Вера и Дмитрий Набоковы уезжают с Анной Фейгиной на отдых в Лейпциг, где живут родственники Анны.
- 1937, 18 января В. В. Набоков по настоянию жены уезжает из Германии после назначения приказом Гитлера Сергея Таборицкого, одного из убийц В. Д. Набокова, заместителем директора департамента по делам русской эмиграции; В. В. Набоков направляется в Брюссель, а потом (22 января) в Париж, где проводит литературные вечера и начинает готовить переезд семьи во Францию.
- 1937, февраль В Париже у В. В. Набокова начинается роман с Ириной Гуаданини.
- 1937, ок. 17 февраля В. В. Набоков едет в Лондон для участия в литературных вечерах, подписания договоров, установления деловых контактов и поиска работы.
- 1937, 1 марта В. В. Набоков возвращается в Париж.
- 1937, апрель Начало публикации романа «Дар» в журнале «Современные записки».
- 1937, 6 мая Вере и Дмитрию Набоковым удается покинуть Германию и приехать к Е. И. Набоковой в Прагу.
- 1937, 22 мая В. В. Набоков приезжает к родным в Прагу; оттуда с женой и сыном едет во Франценсбад в Чехословакии (теперь Франтишковы Лазне в Чехии).
- 1937, 17 июня В. В. Набоков едет в Прагу, чтобы провести литературные чтения и устроить переезд жены и сына из Чехословакии во Францию.
- 1937, 23 июня В. В. Набоков воссоединяется с семьей в Мариенбаде (теперь Марианске Лазне), и 30 июня Набоковы едут в Париж.
- 1937, июль В. В. Набоков с семьей обосновывается во Франции, в Каннах; В. В. Набоков признается в своей связи с И. Гуаданини, но решает остаться с женой.
- 1937, ок. 9 сентября Ирина Гуаданини, вопреки желанию В. В. Набокова, приезжает в Канны; В. В. Набоков просит ее уехать; окончательный разрыв их отношений.

- 1937, октябрь В. В. Набоков с семьей переезжает в Мен-тону.
- 1938, июль В. В. Набоков с семьей переезжает в Мулине, неподалеку от Ментоны. В. В. Набоков поймал бабочку, которую назовет *Lysandra cormion*.
- 1938, август В. В. Набоков с семьей переезжает в Кап-д'Антиб во Франции.
- 1938, октябрь В. В. Набоков с семьей переезжает в Париж.
- 1939, 2–23 апреля В. В. Набоков едет в Лондон для проведения литературных чтений на русском и английском языках, подписания договоров и поисков преподавательского места в университете или частной школе.
- 1939, 2 мая Смерть Е. И. Набоковой в Праге.
- 1939, 31 мая – 14 июня В. В. Набоков едет в Лондон, где продолжает поиски издателей, преподавательской должности и заработка.
- 1940, 28 мая После многомесячных попыток выбраться из Франции В. В. Набоков с семьей переезжает в США и обосновывается в Нью-Йорке.
- 1941, 15 марта – 2 апреля В. В. Набоков две недели читает лекции в колледже Уэлсли в штате Массачусетс.
- 1941, сентябрь В. В. Набоков получает годичное назначение на должность преподавателя литературы в Уэлсли (куда вся семья и переезжает) и начинает работать безвозмездно в Гарвардском музее сравнительной зоологии.
- 1941 Публикация романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта».
- 1942, сентябрь Набоковы переезжают в Кембридж, штат Массачусетс. В. В. Набоков подписывает годичный договор на преподавание русского языка в Уэлсли и годичный договор на работу исследователем-лепидоптерологом в Гарвардском музее сравнительной зоологии.
- 1942, 30 сентября — 12 декабря В. В. Набоков уезжает в лекционное турне: в октябре он выступает на Юге США, в ноябре – на Среднем Западе, в декабре – в Фармвилле, штат Вирджиния.
- 1944, 1–15 июня В. Е. Набокова везет сына в Нью-Йорк для удаления аппендикса.
- 1945, ок. 8–11 февраля В. В. Набоков едет читать лекцию в Балтимор.
- 1947 Публикация романа «Под знаком незаконнорожденных».
- 1948, январь В. В. Набоков начинает публиковать автобиографию, в основном в журнале «Нью-Йоркер».
- 1948 В. В. Набоков получает должность преподавателя русской литературы в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк.
- 1951 Выход первого варианта автобиографии под названием «Убедительное доказательство» (США).
- 1952 Публикация романа «Дар».
- 1954, ок. 16–22 апреля В. В. Набоков едет читать лекции в Лоуренс, штат Канзас.
- 1955 В Париже выходит роман «Лолита».
- 1957 Публикация романа «Пнин».
- 1958 Публикация «Лолиты» в США и других странах.
- 1959 После успеха «Лолиты» В. В. Набоков увольняется из Корнеллского университета и едет с женой в Европу.
- 1961 В. В. и В. Е. Набоковы поселяются в отеле «Монтрё-палас» в швейцарском Монтрё.
- 1962 Публикация романа «Бледный огонь».
- 1969 Выход романа «Ада».
- 1970, 4 апреля В. В. Набоков уезжает на отдых в Таормину на Сицилии.
- 1970, ок. 14 апреля В. Е. Набокова присоединяется к мужу.
- 1972 Публикация романа «Прозрачные вещи».
- 1974 Публикация романа «Смотри на арлекинов!»
- 1977, 2 июля Смерть В. В. Набокова в больнице в Лозанне после двухлетней болезни.

1991, 7 апреля В. Е. Набокова умерла в больнице в Веве, Швейцария.
2012, 22 февраля Смерть Д. В. Набокова.

Конверты для «Писем к Вере» Брайан Бойд

*Вчера я видел тебя во сне – будто я играл на рояли, а ты
переворачивала мне ноты...*

Из письма В. В. Набокова от 12 января 1924 г.

I

Ни один из крупных писателей XX века не прожил столько лет в одном браке, сколько прожил Владимир Набоков, и немного найдется фотографий, столь наглядно запечатлевших многолетнюю семейную идиллию, как запечатлела ее фотография, сделанная в 1968 году Филиппом Халсманом: на ней Вера Евсеевна прислонилась к мужу, обнимающему ее правой рукой, и смотрит ему в глаза с неизменным обожанием.

Первое посвященное Вере стихотворение Набоков написал в 1923 году, всего через несколько часов после их знакомства, а в 1976-м, спустя более чем полвека совместной жизни, он посвятил ей свою последнюю книгу, изданную при жизни. В заключительной главе первого посвященного жене произведения – автобиографии, опубликованной в 1951 году, – автор обращается к неназванному собеседнику: «Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я»¹. Эти чувства он предвосхитил в письме, написанном почти через год после начала их отношений: «...мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто *так* не любит, как мы»².

Впоследствии Набоков называл свой брак «безоблачным»³. Почти так же он охарактеризовал его в письме к Ирине Гуаданини⁴, с которой у него случился пылкий роман. Год этой связи стал самым мрачным и болезненным в жизни Набоковых, но он был исключением, чему свидетельствуют письма. Впрочем, хотя в их ранних посланиях по большей части сияет или проблескивает солнце молодой любви, и эту переписку омрачают заботы: болезни Веры Евсеевны и Елены Ивановны Набоковой, постоянная нехватка денег, нелюбовь к Германии, изматывающие поиски убежища для семьи во Франции, Англии или Америке после прихода к власти Гитлера, поставившего под вопрос само существование русской эмигрантской общины, в которой Набоков, хотя и влачивший полуголодное существование, уже стал знаменитостью.

Вера Слоним сначала познакомилась с Владимиром Сириным – этот псевдоним он взял в январе 1921 года, чтобы его не путали с отцом, тоже Владимиром Набоковым. Набоков-старший был основателем и главным редактором русской эмигрантской газеты «Руль» в Берлине – городе, который в 1920 году стал центром притяжения для русских эмигрантов, покинувших родину после революции. Публиковаться Набоков-младший начал еще в 1916 году в Петрограде, за два года до окончания школы, а к 1920-му, второму году жизни семьи в эмиграции,

¹ Conclusive Evidence: A Memoir (N. Y.: Harper and Brothers, 1951); в переработанном виде: *Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited*. N. Y.: Vintage, 1967. P. 295. Набоков впоследствии утверждал, что первое англоязычное название автобиографии «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence») построено вокруг сочетания двух букв «V» в середине, обозначающих Владимира и Веру (*Dommergues P. Notes et Documents: Entretien avec Vladimir Nabokov II Les Langues modernes*. 1968. № 62. January-February. P. 92–102, 99). (Цитата приводится по тексту «Других берегов». – *Примеч. переводчика.*)

² Письмо от 13 августа 1924 г.

³ *Nabokov V Strong Opinions*. N. Y.: McGraw-Hill, 1973. P. 145 («безоблачная семейная жизнь»),

⁴ Письмо Набокова к Ирине Гуаданини от 14 июня 1937 г.: в письме говорится, что 14 лет его брака представляли собой «ясное счастье» (Tatyana Morozov Collection).

его стихи уже были признаны писателями старшего поколения, такими как Тэффи и Саша Черный.

В «Письмах к Вере» Владимир Владимирович и Вера Евсеевна часто раскрываются с еще незнакомой нам стороны. Их образы оказываются более привычными нам в 1950 году, ровно в середине истории их любви, когда Набоков впервые посвящает свою книгу жене⁵. В 1958 году в США выходит «Лолита», а в последующие годы там появляется множество переводов его старых, написанных на русском произведений, равно как и новых сочинений на английском – романов, стихов, киносценариев, научных статей и интервью, – и они тоже посвящены «Вере». На гребне новообретенной славы писателя и его жену фотографируют вдвоем для бесконечных интервью, причем истории о том, как Вера Евсеевна редактировала и перепечатывала тексты мужа, водила машину, преподавала, вела его переписку и деловые переговоры, становятся частью набоковской легенды. При этом за вторую половину их совместной жизни, с 1950 по 1977 год, написано всего 5 % опубликованных здесь писем. Остальные 95 % относятся ко времени намного более сложному, чем последний период, осененный мировой славой.

Евсей Лазаревич Слоним, его жена Слава Борисовна и их дочери Елена, Вера и Софья бежали из революционного Петрограда. В начале 1921 года, после долгих мытарств в Восточной Европе, они обосновались в Берлине. Как говорила мне Вера Евсеевна, она «прекрасно отдавала себе отчет» в том, насколько Набоков талантлив, еще до знакомства с ним, «хотя и жила в нелитературных кругах, среди бывших офицеров»⁶. (Несколько странный выбор компании для молодой еврейки из России, учитывая, что в Белой армии процветал антисемитизм. Однако еще во время бегства из России сестры Слоним сумели своим мужеством покорить враждебно настроенного по отношению к ним белоармейца, обретя в нем защитника; еще она утверждала, что в Берлине было много порядочных белых офицеров.) Самые первые стихи Набокова, которые она вырезала из газет и журналов⁷, относятся к ноябрю-декабрю 1921 года: ей тогда было девятнадцать лет, а ему – двадцать один. Через год молодой Сирин, уже часто публикующийся в эмигрантских журналах и антологиях как поэт, автор рассказов, эссеист, рецензент и переводчик, поразит книжный мир берлинской эмиграции своей работоспособностью⁸: ноябрь 1922-го – «Николка Персик» (перевод романа Ромена Роллана «Кола Брюньон»); декабрь 1922-го – шестидесятистраничная подборка новых стихов «Гроздь»; январь 1923-го – 180-страничная подборка стихов последних лет «Горний путь»; март 1923-го – перевод «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла («Аня в стране чудес»).

Привлекательную, сильную духом и влюбленную в литературу молодую женщину особенно интересовали романтические обертоны недавних стихов Сирина. 28 марта 1922 года погиб отец Владимира Набокова, и родители жизнерадостной красавицы Светланы Зиверт позволили ему заключить с ней помолвку, несмотря на то что невеста была гораздо моложе жениха – семнадцать лет против его двадцати трех. Стихи, которые он писал Светлане в первый год их знакомства, и составили его поэтический сборник «Гроздь». Однако 9 января 1923 года ему было объявлено, что помолвка расторгнута: она слишком молода, а он, поэт, имеет недостаточно определенные виды на будущее.

Если после знакомства Набокова со Светланой стихи полились, то после их расставания они хлынули бурным потоком. В следующие месяцы в эмигрантской прессе появился целый

⁵ Посвящение на книге, опубликованной в 1951 г., было сделано в 1950 г.

⁶ Интервью Веры Набоковой Брайану Бойду 20 декабря 1981 г.

⁷ Так помечено в альбоме стихов Сирина, который Вера Набокова, судя по всему, начала собирать позднее, одновременно с другими альбомами его прозаических произведений и критических отзывов – когда она стала его архивариусом (Vladimir Nabokov Archive. Henry J. and Albert A. Berg Collection, New York Public Library).

⁸ Тот факт, что двадцатитрехлетний автор смог незадолго до встречи с Верой опубликовать четыре книги за четыре месяца, ставит под сомнение такие, например, утверждения: «Адвокаты, издатели, родственники, друзья – все сходились в едином мнении: „Без нее он ничего бы в жизни не достиг“» (*Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков): Биография / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: КоЛибри, 2010. С. 13).*

ряд стихотворений, посвященных любовной утрате. В марте Сирин опубликовал «Жемчуг»⁹ («Посланный мудрейшим властелином / страстных мук изведать глубину... Я сошел в свою глухую муку, / я на дне. Но снизу, сквозь струи, / все же внемлю шелковому звуку / уносящейся твоей лады») и «В каком раю...»¹⁰ («Вставали за разлуками разлуки, / и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты, / и вновь я обречен извечной муке / твоей неуловимой красоты»), а 6 мая вышло в печати самое откровенное – «Бережно нес...»¹¹ («Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то / в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав, / скорбно разбилось на песни»).

Еще одно стихотворение, «Я Индией неведомой владею...»¹², написанное в тот же день, что и «Бережно нес...», и опубликованное 8 апреля, свидетельствовало о перемене в душе поэта. Повелитель своего воображения, он был готов начать все заново, предлагая все свои богатства неведомой царевне, пока остававшейся незримой. Скорее всего, «царевна» приметила и это стихотворение, и намек на окончание любовной драмы в другом, написанном в тот же день. Как бы то ни было, 8 мая 1923 года, через два дня после публикации «Бережно нес...» в «Руле», Вера Слоним явилась Владимиру Набокову незнакомкой в черной арлекиновой полумаске, которую отказалась снимать. Сам Набоков впоследствии вспоминал, что познакомился с Верой Евсеевной на эмигрантском благотворительном балу¹³. «Руль», печатавший подробную хронику всех событий русского Берлина, упоминает о единственном благотворительном бале, состоявшемся в тот отрезок времени, а именно 9 мая 1923 года. Тем не менее Набоковы всегда отмечали день своей первой встречи 8 мая. Когда я процитировал Вере Евсеевне рассказ ее мужа об их знакомстве, записи в его дневнике о том, что 8 мая для них особенный день, а потом сообщение в «Руле» о благотворительном бале 9 мая, она ответила: «Неужели вы думаете, что мы не знаем, в какой день познакомились?»

Впрочем, Вера Евсеевна умела утаивать истину. И хотя нам неведомо многое из того, «что знаем ты да я», на том эмигрантском благотворительном балу она обратила на себя внимание Владимира Сирина, но так и не сняла маску. По мнению Елены Владимировны Сикорской, любимой сестры Набокова, Вера скрыла лицо, чтобы ее изумительная, хотя и небеспримечная красота не отвлекла поэта от других ее уникальных достоинств¹⁴ – отзывчивости к поэзии Сирина (она запоминала его стихотворения после двух прочтений) и поразительной духовной созвучности его стихам. Они вместе вышли в ночь, гуляли по берлинским улицам, восхищались игрой света, теней и листьев. Через пару дней¹⁵ Набоков, как было запланировано заранее, уехал на юг Франции работать на ферме, которой управлял один из коллег его отца по Крымскому временному правительству 1918–1919 годов. О поездке он договаривался в надежде, что перемена обстановки облегчит скорбь по отцу и боль от разрыва со Светланой.

⁹ Стихотворение написано 14 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник» (Берлин, [б. д.] С. 267; рекламировался в «Руле» 18 и 25 марта 1923 г.). Перепечатано: *Набоков В. Стихи*. Анн-Арбор: Ардис, 1979. С. 76. Сестра Набокова Елена Сикорская, всегда внимательно следившая за литературной и личной жизнью брата, сообщила мне, что стихотворение посвящено Светлане.

¹⁰ Написано 16 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник», как и «Через века» (с. 268). Елена Сикорская утверждает, что и оно адресовано Светлане.

¹¹ Написано 7 марта 1923 г. (Vladimir Nabokov Archive. Album 8. P. 26), опубликовано как «Сердце» в цикле «Гексаметры» в «Руле» (1923. 6 мая. С. 2); перепечатано: *Набоков В. Стихи*. С. 94.

¹² Написано 7 марта 1923 г. (Vladimir Nabokov Archive. Album 8. P. 27), опубликовано как «Властелин» в «Сегодня» (1923. 8 апреля. С. 5); перепечатано: *Набоков В. Стихи*. С. 125. В издании 1979 г. ошибочно датировано 7 декабря 1923 г.; в беловом автографе 1923 г. (Vladimir Nabokov Archive. Album 8) пометка к месяцу «III» поправлена так, что ее можно прочитать как «XII», однако стихотворение идет вслед за другим, датированным «7 – III – 23», а за ним следует датированное «19 — III — 23».

¹³ *Nabokov V. Strong Opinions*. P. 127; *Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы* / Пер. с англ. Е. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 640, примеч. 37.

¹⁴ Интервью Елены Сикорской Брайану Бойду 24 декабря 1981 г.

¹⁵ В беловике альбома стихов Набокова (Vladimir Nabokov Archive. Album 8) часто появляется по несколько стихотворений в неделю, иногда – по стихотворению в день, однако с 7 мая по 19 августа 1923 г. в нем нет ни одной записи.

25 мая с фермы Домэн-де-Больё под Солье-Пон, вблизи Тулона, Набоков написал Светлане последнее, запретное, прощальное письмо¹⁶, полное страстных сожалений, «словно бы само расстояние, разделяющее их, давало ему на это право»¹⁷. Неделю спустя он посвятил другое стихотворение¹⁸ новым открывшимся перед ним возможностям:

ВСТРЕЧА

И странной близостью закованный...

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча
в ее атласные струи
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч
переживал я очерк смутный
других – неповторимых – встреч?

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно
трепещет стих, и в нем – стрела...
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь

¹⁶ Копии этого письма к Светлане сохранились в архивах Зинаиды Шаховской в Библиотеке Конгресса и в Армхерстском центре русской культуры (Армхерстский колледж, США).

¹⁷ Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы. С. 247.

¹⁸ Дата создания «Встречи» – 1 июня 1923 г. – взята из рукописи Набокова, сохранившейся в одном из альбомов, куда его мать вклеивала или переписывала его стихи (Album 9. С. 48–49). Опубликовано: Руль. 1923. 24 июня. С. 2; перепечатано: Набоков В. Стихи. С. 106–107. Эпиграф из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906).

твоих – непросиявших – глаз...

Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движение звезд над нашей встречей...
И если ты – судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...
Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба...

Молодой поэт уже знал, что девушка, выбравшая столь странный способ знакомства, читает все его произведения. Он отправил новое стихотворение в «Руль», и 24 июня оно было опубликовано. В определенном смысле с него и начинаются письма Владимира Набокова к Вере Слоним. Внутри общедоступного текста заключен тайный призыв к тому единственному читателю, который мог знать, какое прошлое описано в стихотворении и какое будущее оно предвосхищает.

Но если Набоков отозвался на смелый отклик девушки на сердечные терзания, вычитанные ею в недавних стихах Сирина, то и Вера Евсеевна с присущей ей смелостью вновь откликнулась на его поэтическое приглашение. В течение лета она отправила ему на юг Франции как минимум три письма. Эти письма не сохранились: всегда тщательнейшим образом оберегавшая личную жизнь семьи, она уничтожила все свои послания к Набокову, которые смогла отыскать. Поэтому нельзя сказать наверняка, стало ли ее первое письмо ответом на публикацию «Встречи» в «Руле». Однако вся логика их романтических отношений указывает именно на такое развитие событий. Она явилась ему в маске 8 мая и могла подумать, что вызванный ею интерес оказался всего лишь мимолетным. Прочитав «Встречу» в «Руле» от 24 июня, она смогла убедиться: он хочет, чтобы она знала, какое произвела впечатление и какие зажгла надежды.

Если Вера Евсеевна отправила письмо поэту почти сразу после прочтения этого стихотворения, Набоков, возможно, ответил на ее первое послание еще одним – стихотворением «Зной», созданным 7 июля, где он намекает на желание, которое пробуждает в нем жар южного лета¹⁹. Не отослав его в Берлин сразу, Набоков получил от нее еще как минимум два письма и 26 июля написал еще одно стихотворение («Зовешь, – а в деревце гранатовом соевенок...»)²⁰. После этого, всего за несколько дней до отъезда с фермы, он написал ей свое первое письмо²¹,

¹⁹ Стихотворение (см. с. 54) пропитано не только зноем, но и жаром влечения. Никогда раньше не публиковавшееся, оно было адресовано одной-единственной читательнице. Набоков уже знал, что она умеет читать и понимать его поэзию, но вот сможет ли она угадать и разделить его желание?

²⁰ Впервые опубликовано: *Набоков В.* Стихи. С. 112.

²¹ Письмо было написано около 26 июля 1923 г. или позднее. Стейси Шифф начинает свое жизнеописание Веры именно с первых месяцев ее знакомства с Набоковым, однако сразу же запутывается в фактах. Она верно указывает датировку письма Владимира к Светлане (25 мая), но потом пишет, имея в виду первое письмо к Вере Евсеевне: «А через два дня писал Вере Слоним. (...) Были ли его помыслы по-прежнему заняты Светланой? (...) Через сорок восемь часов после того, как он убеждал Светлану, что готов отправиться на другой континент, молодой поэт чувствует, что должен вернуться в Берлин, отчасти ради матери, отчасти ради некоей тайны, которой „отчаянно хочется поделиться“» (*Шифф С.* Вера (Миссис Владимир Набоков). С. 20–21). Однако в первом письме Владимира к Вере дата не указана. С. Шифф путает датировку стихотворения «Встреча» (май 1923 г.) в набоковском посмертном сборнике избранных стихотворений 1979 г. (*Набоков В.* Стихи. С. 107; тогда как настоящая дата написания – 1 июня 1923 г., что следует из его рукописи (Vladimir Nabokov Archive. Album 9. P. 48–49)) с датой его первого письма к Вере, не замечая того, что в это письмо включено стихотворение «Зовешь...», которое было написано только 26 июля. В первом письме к Вере есть другие указания на то, что оно не могло быть написано 27 мая 1923 г.: в него включено стихотворение «Зной», написанное 7 июня (список Елены Набоковой, см.: Vladimir Nabokov Archive. Album 9. P. 54), и в нем есть отсылки к пьесам «Дедушка» и «Полус», написанным 20 июня и 6 и 8 июля 1923 г. соответственно (см.: Руль. 1923. 14

вложив в него и оба поэтических ответа («Вот тебе стихи»). Само письмо начинается с приметной отрывистостью, без обращения («Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это – шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить – сотрешь прикосновением слова их изумительную пылью... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты... И хороши, как светлые ночи, все твои письма...»). Набоков продолжает его с уверенностью («Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли...»), а заканчивает, прежде чем предложить Вере Евсеевне свои стихотворения, словами: «Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, – найду...»

Отсюда, с первого письма Владимира Владимировича к Вере Евсеевне, нам следует продвигаться вперед в хронологическом порядке, сопоставляя письма с их жизнью и любовью, с их миром, чтобы в конце пути разобраться, в чем исключительность их переписки и что она может нам сказать о Набокове – человеке и писателе.

В конце лета 1923 года Набоков нашел Веру Евсеевну в Берлине – она сняла маску, а вместе с ней отбросила все свои опасения. Как и другие бесприютные юные влюбленные, они еженощно бродили вместе по вечерним улицам. Единственное письмо этого периода, датированное ноябрем 1923 года и отправленное из одного конца русского западного Берлина в другой, отражает страстность их раннего взаимопонимания и первых размолвок.

В конце декабря 1923 года Набоков отправился с матерью и младшими братом и сестрами, Кириллом, Ольгой и Еленой, в Прагу, где Елена Ивановна, вдова русского ученого и государственного деятеля, получила право на пенсию. В период их первой разлуки, продлившейся несколько недель, Владимир писал Вере о сосредоточенной работе над своим первым большим произведением – пьесой в стихах «Трагедия господина Морна»²², о впечатлениях от Праги (глядя на замерзшую Молдаву: «...по белизне этой с одного берега на другой проходят черные силуэтики людей, похожие на нотные знаки: так, например, фигурка какого-нибудь мальчишки тянет за собой значок диеза: санки»²³) и о том, как страшна ему разлука с ней чуть ли не на месяц.

Они воссоединились в Берлине в конце января 1924 года и вскоре стали считать себя помолвленными. Когда в августе Набоков уехал на две недели – побыть с матерью в Добржиховице, тихом местечке на берегу реки, под Прагой, – первое свое письмо к невесте он начал так: «Моя прелестная, моя любовь, моя жизнь, я ничего не понимаю: как же это тебя нет со мной? Я так бесконечно привык к тебе, что чувствую себя теперь потерянным и пустым: без тебя – души моей. Ты для меня превращаешь жизнь во что-то легкое, изумительное, радужное, – на все наводишь блеск счастья...»²⁴ Несколько коротких берлинских записок в том же ключе предвосхищают их свадьбу, которая состоялась там же 15 апреля 1925 года (вот пример, полный текст одной из них: «Я люблю тебя. Бесконечно и несказанно. Проснулся ночью и вот пишу это. Моя любовь, мое счастье»²⁵).

октября. С. 6; 1924. 4 августа. С. 3). С. Шифф пытается сказать, что, хотя Набоков выражает свою вечную любовь в письме к Светлане, он уже два дня спустя пишет страстное послание к Вере. Но согласно фактам, последнее прощальное письмо к Зиверт он написал 25 мая, после чего, через неделю, сочинил стихотворение «Встреча» – отклик на знакомство с Верой тремя неделями ранее, – которое в опубликованном виде стало непосредственным призывом к ней. На этот призыв Вера ответила несколькими письмами, а на них Набоков, в свою очередь, отозвался двумя стихотворениями и письмом, к которому они прилагались. Так что перед нами не скорая перемена романтических чувств (всего за два дня, как это выглядит у С. Шифф), а два месяца призывов и откликов.

²² В журнальном варианте «Трагедия господина Морна» опубликована лишь в 1997 г. (Звезда. 1997. № 4), а в составе книги она вышла только в 2008 г. (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы, лекции о драме / Под ред. А. Бабикова. СПб.: Азбука-классика, 2008).

²³ Письмо от 8 января 1924 г.

²⁴ Письмо от 13 августа 1924 г.

²⁵ Письмо от 19 января 1925 г.

Набоковы зарабатывали по большей части преподаванием английского языка. В конце августа 1925 года родители основного ученика Владимира Владимировича, Александра Зака, пригласили его сопровождать подростка (за вознаграждение) сначала на приморский курорт в Померании, а потом в настоящий пеший поход по Шварцвальду. Этот поход Набоков запечатлел в коротких прозаических зарисовках на открытках; Вера Евсеевна присоединилась к ним в Констанце.

Год спустя, летом 1926 года, жизнь несколько омрачилась. Вера Набокова, которая резко худела из-за тревожности и депрессии, вместе с матерью уехала в санаторий в Шварцвальде – ей нужно было набрать вес. Набоков же остался в Берлине и продолжал преподавать. Вера Евсеевна взяла с мужа слово, что он будет посылать ей ежедневные доклады – что ел, что надевал, что делал; он честно выполнил обещанное.

Другой столь подробной ежедневной хроники набоковских откликов на события внешнего мира не существует. Судя по всему, в перерыве между работой над первым романом («Машенька», 1925) и вторым («Король, дама, валет», конец 1927 – начало 1928 г.) жил он необременительно и солнечно: давал уроки (причем создается впечатление, что часто они сводились к продолжительному загоранию, плаванию и развлечениям в Грюневальде), играл в теннис, читал, иногда писал; готовил критические обзоры новой советской литературы для друзей и литературного кружка Татариновых; сочинил стихотворение для Дня русской культуры; участвовал в театрализованном суде над убийцей из «Крейцеровой сонаты» Толстого – и сыграл в нем роль Позднышева, виртуозно ее переработав; быстро придумал и быстро написал рассказ; составил, опять же для кружка Татариновых, список того, что вызывает у него страдание, – «начиная от прикосновения к атласу и кончая невозможностью присвоить, проглотить все прекрасное в мире»²⁶. Чтобы подбодрить Веру Евсеевну и убедить ее остаться в санатории, пока она не наберет тот вес, который он сам и ее отец считали достаточным, Набоков, всегда отличавшийся любовью к игре, мучительно старался (и результат, надо сказать, порой действительно кажется вымученным) забавлять и развлекать жену, повышая градус веселья по мере удлинения разлуки. Каждое письмо он начинал с нового обращения, поначалу употребляя имена игрушечных существ, которых они коллекционировали; со временем эти прозвища становились все более странными (Козлик, Тюфка, Кустик, Мотыленок). Он сочинял для нее загадки, крестословицы, ребусы, лабиринты, головоломки, игры в слова, а под конец придумал крошечного сочинителя – «редактора отдела» – всех этих загадок, некоего Милейшего, который якобы вмешивался в то, что Набоков сам хотел написать.

Берлин стал центром притяжения для первой волны эмигрантов, покинувших Россию после Октябрьского переворота. Между 1920 и 1923 годом в городе жили около 400 тысяч русских, среди них множество представителей интеллигенции, в том числе и творческой. Однако после гиперинфляции 1923 года курс немецкой марки стабилизировался, и жизнь в Германии начала стремительно дорожать. К концу 1924 года многие эмигранты перебрались в Париж. Там они, в большинстве своем, и оставались, пока Вторая мировая война не сотрясла Европу.

Набоков не хотел портить свой русский язык жизнью в городе, где говорили бы на французском – языке, которым, в отличие от немецкого, он владел хорошо, и потому остался в Берлине. К 1926 году он уже был признанной литературной величиной эмиграции – это видно по тому, с каким восторгом его приветствовали на празднованиях в честь Дня русской культуры; в форме неспешного прозаического стриптиза он описывает эти чествования жене. Признание писательского дара Набокова стремительно росло (хотя «Руль», в котором он в основном публиковался, в Париже читали мало), и они с Верой Евсеевной жили в Берлине относительно безбедно благодаря скромному быту и невеликим, но достаточным доходам от его препода-

²⁶ Письмо от 19 июня 1926 г.

вания, издания первых его двух романов на немецком языке и от ее секретарской работы на полставки.

В 1929 году, когда Сирин начал публиковать «Защиту Лужина» в парижском журнале «Современные записки», наиболее престижном эмигрантском издании с самыми высокими гонорарами, Нина Берберова так откликнулась на первые главы романа: «Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано»²⁷. Иван Бунин, патриарх эмигрантской литературы, будущий первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии, по-своему высказался о «Защите Лужина»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня»²⁸.

Третьим важнейшим центром европейской эмиграции была Прага – там собралось представительное научное сообщество, привлеченное стипендиями чешского правительства ученым и деятелям культуры. Приехав в Прагу в мае 1930 года, чтобы повидаться с родными, Набоков и здесь стал литературной звездой, хотя его самого больше волновали жилищные условия матери (в том числе клопы и тараканы), замужества сестер, литературные амбиции младшего брата, а также Бокс, любимая такса всех домочадцев, который от старости его не узнал.

Следующая поездка без Веры Евсеевны состоялась в апреле 1932-го: Набоков снова отправился в Прагу к родным. Он восхищался маленьким племянником Ростиславом, сыном сестры Ольги Владимировны, но переживал, что родители мало занимаются ребенком. С показавшимся мрачным городом его примирило только перечитывание Флобера, сухой и отрешенный пересмотр собственных ранних стихов и знакомство с коллекцией бабочек в Национальном музее.

Возможно, именно угнетенным состоянием объясняется то, что в письмах 1932 года нет потока ласковых прозвищ, – но установить это в любом случае теперь не представляется возможным.

Их текст доступен нам только в записях, которые Вера Евсеевна надиктовала мне на магнитофон в декабре 1984-го и январе 1985 года. Собирая материал для биографии Набокова, я много лет настойчиво просил ее показать мне письма мужа. Просмотреть их лично она мне так и не позволила, но в конце концов согласилась начитать под запись то, что сочтет уместным. Позднее часть архива Набокова была передана в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, в которой ныне хранятся оригиналы его переписки с женой. Но связка, относящаяся к 1932 году, куда-то исчезла (по-видимому, это произошло в конце 1990-х). Судя по тому, что Вера Евсеевна при чтении мне и других посланий последовательно опускала все любовные признания и игривые подробности, письма 1932 года, особенно относящиеся к апрельской поездке, явно тоже были ею либо сокращены, либо сведены к деловому тону.

Письма за октябрь–ноябрь 1932 года тоже дошли до нас в отредактированном Верой Евсеевной виде. Однако, по-видимому, они не так пострадали, как предыдущие, потому что представляют собой хронику набоковского триумфа в Париже, которую его жена была только рада сохранить для потомков. В октябре Набоковы гостили у двоюродного брата Владимира Владимировича Николая и его жены Наталии в Кольбсхайме под Страсбургом. После возвращения Веры Евсеевны в Берлин Набоков провел еще несколько дней в Кольбсхайме, а потом отправился в Париж, где пробыл месяц. Там Сирина горячо приветствовали писатели-эмигранты (Иван Бунин, Владислав Ходасевич, Марк Алданов, Борис Зайцев, Нина Берберова, Николай Евреинов, Андре Левинсон, Александр Куприн и многие другие) и издатели (прежде

²⁷ Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996.

²⁸ Цит. по: Любимов Л. На чужбине // Новый мир. 1957. № 3. Март; Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы. С. 402.

всего Илья Фондаминский и Владимир Зензинов из «Современных записок») – в большинстве своем все они раньше почти или совсем не были знакомы с ним лично. Многие стали активно заниматься поиском заработков для него, организуя публичные чтения и встречи с руководством французских издательств («Грассе», «Фаяр», «Галлимар»), писателями (Жюлем Сюпервье, Габриэлем Марселем, Жаном Поланом) и переводчиками (Дени Рошем, Дусей Эргаз). Потому-то письма Набокова, относящиеся к осени 1932 года, пестрят искусными зарисовками русских и французских литераторов. Он изумлен и восхищен их щедростью по отношению к нему, особенно «милейшим и святым» Фондаминским²⁹, издателем и главным спонсором «Современных записок».

В 1932 году Набоковы переехали на другую берлинскую квартиру, спокойную и доступную им по цене, так как она принадлежала Анне Фейгиной, двоюродной сестре и близкой подруге Веры Евсеевны. В мае 1934 года у них родился сын Дмитрий. Власть Гитлера укреплялась, Вера Евсеевна как еврейка уже не могла работать, а Дмитрия нужно было обеспечивать всем необходимым. Поэтому у супругов были все основания искать немедленного заработка, а также долгосрочных перспектив в другой стране. Беспокоясь о будущем, Набоков сам перевел на английский роман «Отчаяние» и написал первый свой рассказ на французском, «Мадемуазель О». В январе 1936 года он отправился в Брюссель, Антверпен и затем в Париж, где должен был провести ряд литературных чтений как на русском, так и на французском языках, упрочив тем самым свои связи с французским литературным миром. Набоков быстро сдружился с Францом Элленсом, ведущим бельгийским писателем. В Париже он жил у Фондаминского и Зензинова и скоро оказался втянут – сильнее, чем ему того хотелось бы, – в высший свет эмигрантской литературы. Хотя на совместном литературном вечере с Ходасевичем Набоков добился сногшибательного успеха, рассказ о том, как Бунин силком тянет его ужинать, отчетливо передает это неуютное чувство. Опять же, письма прежде всего посвящены впечатлениям от других писателей, а также энергичным и настойчивым, хотя и безуспешным, попыткам установить нужные деловые связи.

В конце 1936 года Гитлер назначил Сергея Таборицкого, одного из двух ультраправых террористов, убивших в 1922 году отца Набокова, заместителем руководителя службы по делам эмигрантов. Вера Евсеевна стала настаивать на том, чтобы муж сначала сам бежал из Германии, а потом перевез семью во Францию или в Англию. В конце января 1937 года Набоков окончательно покинул Третий рейх и, захватив в Брюссель для проведения литературного вечера, направился в Париж, где вновь остановился у Фондаминских. К столетию гибели Пушкина он написал статью по-французски и начал переводить на французский свои рассказы. Чтения на русском и на французском, как публичные, так и в частных домах, проходили с большим успехом, однако Набокову не удавалось получить французское удостоверение личности и тем более разрешение на работу. В конце января у него начался страстный роман с Ириной Гуаданини, поэтессой, зарабатывавшей стрижкой пуделей, с которой он познакомился в 1936 году. Измена так мучила Набокова, что вызвала у него почти невыносимое обострение хронического псориаза. Одновременно он пытался обеспечить переезд семьи во Францию, однако Вера Евсеевну беспокоили финансовая сторона вопроса и слишком беспечно-оптимистичное отношение мужа к перспективам на будущее; в результате она отказалась уезжать из Берлина. В конце февраля Набоков провел несколько выступлений в Лондоне. Его задачей было установить там контакты в литературных и общественных кругах – в надежде не только найти издателя (для своей краткой автобиографии, написанной по-английски, и сборника рассказов в переводе на этот язык), но и, возможно, получить преподавательскую должность. Несмотря на титанические усилия и возникшие в их результате прекрасные связи, он почти ничего не добился. Зацепки в Англии у Набоковых не оказалось.

²⁹ Письмо от 3 ноября 1932 г.

Когда он вернулся в Париж в начале марта, его любовная связь с Ириной Гуаданини возобновилась. При этом переписка с женой становится все более напряженной – теперь он пытается уговорить ее уехать из Германии и присоединиться к нему на юге Франции: там можно остановиться у русских друзей. Он явно не хочет, чтобы Вера Евсеевна очутилась в Париже. Тем временем до нее уже дошли слухи о его романе, и она соглашается ехать куда угодно, только не во Францию: в Бельгию, в Италию, лучше всего – в Чехословакию, где можно будет показать Елене Ивановне внука. Наконец Вера Евсеевна призналась, что прослышала о его любви к другой женщине, Набоков все отрицал. Натянутость в их отношениях выразилась не только в обвинениях и отпирательстве, но и в том, что планы их воссоединения постоянно менялись, будто в шахматной игре. Как сформулировала это Стейси Шифф, в письмах 1937 года «голоса супругов звучат в томительном диссонансе»³⁰. Дополнительным осложнением, отразившимся в переписке, стали почти непреодолимые сложности, связанные с получением выездных виз из Германии для Веры Евсеевны и Дмитрия, а для Владимира Владимировича – с поездкой из Парижа в Прагу, где они в итоге воссоединились из-за упрямого сопротивления жены его французскому плану: Набоков приехал туда 22 мая, через Швейцарию и Австрию, минуя Германию.

Через полтора месяца они все вместе, опять в объезд Германии, отправились обратно во Францию и обосновались в Каннах. Набоков признался в измене, – последовали семейные бури, но затем, после того как он поклялся, что все в прошлом, наступило затишье; он же продолжал писать к бывшей возлюбленной. Опасаясь полного разрыва отношений, Гуаданини пренебрегла запретом на свидания и 8 сентября приехала в Канны. После краткой встречи он велел ей возвращаться в Париж, поставив точку в их романе. Несмотря на это, им с Верой Евсеевной понадобилось немало времени, чтобы вернуться к прежней близости. Проведя год с лишним в Каннах, Ментоне и на Кап-д'Антибе, они отправились на север, в Париж. У Набокова появился американский агент, которая сумела продать «Смех в темноте» (переработанный авторский вариант перевода «Камеры обскуры») издательству «Боббз-Меррил». Однако, несмотря на восторженные отзывы русскоязычных рецензентов во Франции, Англии и США на другие, более сложные произведения Набокова, его проза оказалась слишком оригинальной, чтобы немедленно заинтересовать издателей не из эмигрантской среды. Он так и не получил разрешения на работу во Франции, и ему становилось все сложнее кормить семью литературным трудом. Навалилась бедность, писатель стал выглядеть все более изможденным.

В начале 1939 года, рассчитывая на обретение убежища за пределами Франции, Набоков написал свой первый английский роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». В апреле он поехал в Лондон, где узнал, что на русском отделении Лидского университета открывается вакансия: если ее займет кто-то из сотрудников Лондонского или Шеффилдского университета, то в одном из них освободится место лектора. Письма к Вере Евсеевне в Париж свидетельствуют, что лихорадочный темп, присущий набоковским поискам заработков во время поездок 1936 и 1937 года, стал еще напряженнее. Тем не менее, невзирая на поддержку высокопоставленных русских и английских друзей из мира науки и литературы, из Англии он привез лишь новые дружеские отношения и рассеявшиеся вскоре надежды. Еще одна поездка в начале июня, породившая еще одну связку писем, никак не приблизила его к заветной цели.

Набоковым удалось вырваться из Европы лишь благодаря счастливой случайности. Писателю Марку Алданову предложили на лето 1941 года место преподавателя писательского мастерства в американском Стэнфордском университете, но Алданов счел свой английский слишком слабым и передал приглашение Набокову. Это по крайней мере позволило получить разрешение на выезд из Франции. Хотя на получение виз и поиск средств на переезд через Атлантику ушло много времени, 28 мая 1940 года (всего за две недели до оккупации нем-

³⁰ Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). С. 125.

цами Парижа) Набоковы отплыли в Нью-Йорк. Там Набоков принялся снова давать частные уроки. Кроме того, он писал рецензии для местных газет, а также – благодаря завязавшемуся знакомству с Эдмундом Уилсоном – для журнала «Нью репаблик». В марте 1941 года с помощью двоюродного брата Николая он получил приглашение прочитать двухнедельный курс лекций в колледже Уэлсли – в связи с чем образовалась новая стопка писем к Вере Евсеевне. Как раз тогда был подписан пакт Молотова – Риббентропа о ненападении между Германией и Советским Союзом. Антисоветские взгляды Набокова сделали его лекции особенно привлекательными (согласно письмам, писатель не мог поверить комплиментам, которыми его одаривали), и в результате успешных выступлений он получил контракт на преподавание в Уэлсли в 1941/42 учебном году. Однако, несмотря на то что в конце 1941 года вышла в свет «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», а другие набоковские сочинения регулярно появлялись в журналах «Атлантик» и даже «Нью-Йоркер», финансовые обстоятельства вынудили Набокова отправиться в лекционные турне: в октябре 1942-го – по американскому Югу, в ноябре – по Среднему Западу, а в декабре – в Вирджинию. На этот раз у него было даже больше свободного времени, чем во время короткого курса в Уэлсли в 1941-м, чтобы описывать жене свои приключения и наблюдения по ходу знакомства с Америкой. Самый занимательный, воистину «пнинианский» его день породил и самое длинное из всех писем, содержащее три тысячи слов.

С 1943 по 1948 год последовали непостоянные, но ежегодно возобновлявшиеся контракты: преподавание русского языка в Уэлсли и лепидоптерологические исследования в Гарвардском музее сравнительной зоологии; с 1948 по 1959-й он занимал постоянную должность преподавателя в Корнелле. Теперь Набоков редко разлучался с Верой Евсеевной надолго. Но в июне 1944 года, когда она возила Дмитрия в Нью-Йорк на диагностическую операцию, завершившуюся удалением аппендикса, Владимир Владимирович вынужден был остаться на своем рабочем месте в Кембридже. 6 июня, в день высадки союзников в Нормандии, у него случилось феерическое пищевое отравление, с упоением описанное в забавных деталях, с присовокуплением рассказа об отправке в больницу, откуда едва выздоровевший Набоков совершил побег в одной пижаме. Далее писем становилось все меньше. За весь период работы над автобиографией, «Лолитой», «Пниным», переводом «Евгения Онегина» и комментариями к нему лишь почетное приглашение прочитать, в 1954 году, курс лекций в Канзасском университете породило еще одну стопочку писем к жене.

В 1958 году по Северной Америке и большей части Европы пронесся ураган «Лолита». В 1959-м Набоков смог позволить себе уволиться из Корнелля и поехать с Верой в Европу, отчасти чтобы навестить сестру Елену, теперь проживавшую в Женеве, отчасти чтобы присмотреть за Дмитрием: повзрослевший обладатель прекрасного баса обучался пению в Милане. Набоковы не собирались оставаться в Старом Свете, но скоро оказалось, что только там можно укрыться от бремени славы, обрушившейся на них в Америке. За все годы жизни в Европе у них не было причин разлучаться. Лишь однажды им довелось обменяться письмами – когда в начале апреля 1970 года Владимир Владимирович поспешил уехать на отдых в Таормину: ему хотелось застать на Сицилии ранних бабочек. После этого «(пере)писка» становится фрагментарной. Самая короткая записка содержит всего три слова: «Сорок пять весен!»³¹ – она прилагалась к букету, подаренному Вере Евсеевне на годовщину их свадьбы. Всего три слова, но какая изящная языковая игра: вместо слова «лет», которое может быть и множественным числом от «лето», Набоков подставляет «весен», утверждая тем самым, что все их совместно прожитые годы были по-весеннему свежи и радостны.

³¹ Записка от 15 апреля 1970 г.

II

Совсем иной эпистолярный ритм последних лет и десятилетий совместной жизни Набоковых указывает на то, как существенно изменились их жизненные обстоятельства. Этим в какой-то мере и определяется очарование всей переписки: голос и мировосприятие писателя остаются неизменными, но приобретают разные черты в зависимости от перемен в жизни и любви, в связи со сдвигами исторического контекста, а также при изменении требований к Набокову как человеку и автору писем: помощник в крестьянском хозяйстве и поэт, пишущий под псевдонимом, – в 1923-м; сын, брат и начинающий драматург – в начале 1924-го; репетитор и временный опекун ученика-подростка – в 1925-м; ободряющий голос из далекого дома – в 1926-м; снова сын и брат – в 1930-м и 1932-м; странствующий литератор в поисках издателя – в 1932-м, а позднее еще и измученный соискатель должности и доведенный до крайности проситель консулов и паспортных «крыс» в 1936-м, 1937-м и 1939-м; помимо этого, неверный муж, на нервной почве заболевший псориазом и чуть ли не готовый к самоубийству – в 1937-м; пытающийся всех очаровать будущий преподаватель – в 1941-м; бедствующий лектор в разъездах – в 1954-м; человек, наслаждающийся покоем, – в 1970-м. В каком-то смысле подобные перемены отражают нормальное течение любой жизни, но одновременно с этим набоковские ипостаси совершенно уникальны: беззаботный молодой супруг, занятый необременительным трудом; получивший признание, но мало зарабатывающий писатель, кумир исчезающей эмигрантской читательской аудитории; востребованный внештатный преподаватель, покоривший всех странствующий лектор без постоянного места и уважаемый профессор на почетной должности; наконец, богатый и знаменитый писатель. Подобным же образом можно утверждать, что перемены в отношениях между Набоковыми отражают вполне предсказуемые перипетии долгой любви. Но и здесь есть противоречие, ибо неповторимы сами Владимир Владимирович и Вера Евсеевна. С самого первого момента, когда она появилась перед ним в маске, они были обречены пережить страстные первые признания и сложности привыкания друг к другу; всевозможные жизненные тревоги и трудности, среди которых – непростой ребенок, супружеская измена, больная мать, грозящая поглотить их государственная тирания, а также переиначивание себя для новой, все еще далеко не стабильной жизни в новой стране. Наконец, тончайшая душевная перенастройка последних лет жизни.

Есть нечто странное в том, что эта эпистолярная летопись долгого брака остается односторонней. Судя по всему, Вера Евсеевна уничтожила все свои письма к Набокову, которые ей удалось разыскать; даже приписки на открытках к свекрови она посчитала недостойными сдачи в архив: сохраняя его часть послания, она сделала свой текст нечитаемым, жирно замазав каждое слово³².

Как мне всегда помнилось, все до единого письма Веры Евсеевны к Владимиру Владимировичу были уничтожены. И все же, непосредственно перед тем, как приступить к работе над этим предисловием, я раздобыл собственные списки с трех ее коротких деловых записок. Две оказались в портфельчике, который мне принесла году в 1981-м одна из секретарш Веры Евсеевны: она знала, что я занимаюсь каталогизацией архива, а портфель обнаружила в дальнем углу, где вдова Набокова его не заметила. По крайней мере одно из этих писем стоит того,

³² Исключение составляет одна игривая открытка, написанная новобрачными, – она сохранилась, видимо, потому, что слова жены неразделимо переплелись со словами Набокова. В первую зиму их совместной жизни они катались на лыжах в Круммхюбеле (тогда в Германии, теперь город Карпач в Польше). Через несколько дней после возвращения, 7 января, Вера Евсеевна начала писать открытку к матери Набокова, но получилось так (его слова даны курсивом): «Володя так мешает мне писать, что я лучше напишу в другой раз, когда его не будет дома – *я не мешаю* – это неправда – *правда* – что неправда» (из моего архива. – Б. Б.).

чтобы процитировать его полностью, ибо оно помогает развеять ожидания читателя. Записка относится примерно к 1 июня 1944 года – поездке Веры Евсеевны с десятилетним Дмитрием в Нью-Йорк на операцию:

«Ехали благополучно. Жара была неистовая. Сегодня были у Д., делаются дополнительные анализы и т. д., но операция назначена на среду окончательно. Подробнее напишу в понедельник, когда увижу Д. опять, утром будут еще X-Rays. Ждем письма. Все кланяются.

Вера»³³.

В архиве Владимира Набокова в собрании Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки не существует ни одного письма от Веры Евсеевны, – по крайней мере, ни одно из них до сих пор не внесено в каталог. Но уже после того, как я закончил, как мне казалось, это предисловие, написав в том числе и предыдущий абзац, я углубился в собственный архив, обнаружив в нем неполный список с письма, отправленного ею биографу Набокова Эндрю Филду 9 мая 1971 года: в нем она цитирует свое письмо к мужу. В этом письме, переписанном ее рукой для Филда, содержатся некоторые новые сведения относительно странной судьбы «Жизни Чернышевского» – четвертой главы «Дара». Несмотря на то что «Современные записки» гордились возможностью опубликовать Сирина – в особенности его наиболее яркий русскоязычный роман «Дар», – редакция журнала наотрез отказалась печатать четвертую главу из-за выраженного в ней непочтительного, едко-критического отношения к Н. Г. Чернышевскому. Приехав в США, Набоков продолжал активно искать возможности опубликовать эту главу и, если получится, весь «Дар» целиком, без купюры величиной в сто страниц. Когда Владимир Мансветов и другие русские писатели, уже обосновавшиеся в Америке, предложили Набокову дать им образец прозы для включения в антологию³⁴, он предоставил им именно «Жизнь Чернышевского». В связи с этим 17 марта 1941 года из Нью-Йорка Вера Евсеевна писала мужу, в это время читавшему лекции в Уэлсли:

«Сейчас была у меня Кодрянская. „Чернышевский для социалистов икона, и если мы это напечатаем, то погубим сборник, так как рабочая партия его не будет раскупать“. Сама в отчаянии, но совершенно курица. Повторяет слова Мансветова. Я просила все это письменно, чтобы тебе переслать. Я сказала твое мнение о цензуре – всякой. Еще: „Эту вещь нельзя в Америке печатать, т. к. он загубит свою репутацию“. На это я прямо сказала: передайте, что ему наплевать, о репутации он сам позаботится... Сегодня у них заседание все о том же»³⁵.

Вера Евсеевна предоставила это письмо Филду, поскольку гордилась принципиальностью мужа и его способностью одерживать победы; ее не остановило даже то, что в письме отчетливо проявляется и ее собственный характер – ее нестигаемость, когда ей нужно было защищать Набокова. Однако письма свои она уничтожила прежде всего потому, что считала: они не стоят того, чтобы их хранить, и вообще никого не касаются. (Вспоминаю при этом, как она сказала мне однажды, что ее золовка Елена Сикорская проявила тщеславие, включив в опубликованную «Переписку с сестрой»³⁶ не только письма брата, но и свои собственные.) Иными словами, в поздние годы жизни женщина, не снявшая маски перед человеком, которого стремилась очаровать, решила не снимать маски перед всем миром. Этого не случилось даже после того, как

³³ Копия, снятая мною с оригинала, тогда находившегося в Монтрё (нынешнее местонахождение неизвестно).

³⁴ Ковчег: Сборник русской зарубежной литературы. Нью-Йорк: Ассоциация русских писателей Нью-Йорка, 1942.

³⁵ Пропуск в цитате В. Е. Набоковой оригинального письма Филду (измозего архива. – Б. Б.).

³⁶ Набоков В. Переписка с сестрой / Под ред. Е. Сикорской. Анн-Арбор: Ардис, 1985.

она сделала все возможное, чтобы помочь Набокову стать всемирным писателем, чего, по ее мнению, он безусловно заслуживал.

Еще более странным, чем уничтожение Верой Евсеевной своих писем, представляется тот факт, что их и так было очень мало. После первого знакомства и последовавшего за ним стихотворения Сирина, посвященного девушке в маске, она написала ему несколько писем на юг Франции, дождавшись в ответ всего лишь одного послания. Но затем их переписка стала по большей части односторонней в противоположном направлении: в ответ на каждые пять писем Набокова Вера зачастую писала не более одного письма. Он был истовым, неутомимым корреспондентом, и хотя порой ее молчание вызывало у него досаду, очень терпимо относился к тому, что многие на его месте сочли бы недостатком внимания со стороны любимого человека. Этот дисбаланс сохранялся и во время их длительных разлук, от Праги в 1924 году («„Ты безглагольна, как все, что прекрасно...“ Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты моя любовь»³⁷; «Ты не находишь ли, что наша переписка несколько... односторонняя? Я так обижен на тебя, что вот начинаю письмо без обращения»³⁸) и ее пребывания в санатории в 1926 году («Тюфка, по-моему, ты пишешь ко мне слишком часто! Целых два письма за это время. Не много ли? Я небось пишу ежедневно»³⁹; «Будет завтра мне письмыш? Сидит ли он сейчас в почтовом вагоне, в тепле, между письмом от госпожи Мюллер к своей кухарке и письмом господина Шварц к своему должнику?»⁴⁰) до Праги в 1930 году («Мне грустно, что ты так мало пишешь, мое бесконечное счастье»⁴¹) и Таормины в 1970-м («Неужели не получу от тебя весточки?»⁴²).

Невзирая на свои частые сетования, Владимир Владимирович бурно радовался тем письмам, которые все-таки получал: «Зато получил сегодня – наконец – твое чудное (звездное!) письмо»⁴³; «Душенька моя, любовь, любовь, любовь моя, – знаешь ли что, – все счастье мира, роскошь, власть и приключения, все обещания религий, все обаяние природы и даже человеческая слава не стоят двух писем твоих»⁴⁴; «Любовь моя, я все гуляю по твоему письму, испитанному со всех сторон, хожу, как муха, по нем головой вниз, любовь моя!»⁴⁵

У тех, кому известно, сколько Вера Евсеевна сделала для мужа как его секретарь, агент, архивариус, шофер, редактор, ассистент по научной и преподавательской работе, машинистка на четырех языках, часто возникает ощущение, что она в каком-то смысле была у него в услужении. Это не так: она посвятила себя служению Набокову, однако на своих условиях. Она вела себя смело и решительно с того самого момента, когда, едва достигнув двадцати одного года, подошла к Сирину, скрыв лицо маской, а после его отклика на ее приглашение написала несколько писем, прежде чем получила от него в ответ хоть единое слово. В Европе и в Америке она ходила с пистолетом в сумочке и очень гордилась тем, что сын Дмитрий, титулованный профессиональный гонщик, владелец нескольких «феррари» и скоростных катеров, говорил: она водит, как мужчина.

В Вере Евсеевне был определенный напор, внутренняя твердость – но была и хрупкость, особенно в молодости. Она с первого слова давала понять, что у нее свои правила. В первом письме к ней, с фермы на юге Франции, Набоков пишет: «И хороши, как светлые ночи, все твои

³⁷ Письмо от 12 января 1924 г.

³⁸ Письмо от 14 января 1924 г.

³⁹ Письмо от 9 июня 1926 г.

⁴⁰ Письмо от 28 июня 1926 г.

⁴¹ Письмо от 19 мая 1930 г.

⁴² Письмо от 8–9 апреля 1970 г.

⁴³ Письмо от 8 января 1924 г.

⁴⁴ Письмо от 19 августа 1925 г.

⁴⁵ Письмо от 10 февраля 1936 г.

письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов»⁴⁶. В следующем – относящемся к стадии вечерних свиданий и прогулок по сверкающим огнями берлинским улицам: «Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне „весело“ два дня не видеть тебя. (...) Слушай, мое счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя?»⁴⁷

Как и Набоков, она умела восторгаться житейскими пустяками и литературными перлами; он утверждал, что из всех женщин, которых он когда-либо встречал, у нее самое лучшее, самое живое чувство юмора. Однако сам Набоков был жизнерадостен по природе, в то время как ей было свойственно впадать в уныние. Он упрасивал ее, незадолго до возвращения из американского лекционного турне: «Люблю тебя, моя душенька. Постарайся – будь веселенькой, когда возвращусь (но я люблю тебя и унылой)»⁴⁸. Она же признавала, что склонна подвергать все критике. Например, не считала нужным удерживаться от упреков даже в адрес человека, которого любила всей душой. После изматывающей поездки в Париж для налаживания литературных связей Набоков пишет с досадой: «...но что же я буду тебе все рассказывать, если ты считаешь, что я ничего не делаю»⁴⁹. Из Лондона, во время первой поездки с той же целью: «Душка моя, *it is unfair* (как я уже тебе писал) говорить о моем легкомыслии. (...) Я прошу тебя, моя любовь, не делай мне больше этих ребяческих упреков, *je fais ce que je peux*»⁵⁰. Снова из Лондона, два года спустя: «Я готов к тому, что вернусь в Париж, оставив лондонский замок висющим в сиреневой мути на вершок от горизонта, но если так, поверь, что будет не моя вина, – я предпринимаю все, что в моих силах и возможностях»⁵¹; и на следующий день: «Не пиши мне про „*don't relax*“ и про „*avenir*“ – это только меня нервит. Впрочем, я обожаю тебя»⁵².

С той же строгостью она обращалась и с другими. Если Т. Х. Гекели был бульдогом при Дарвине, то Вера Евсеевна – при Набокове, пусть и в образе изящной гончей. И то, что Набоков выстроил свою жизнь на стальной основе под названием «Вера», является чертой его личности, известной далеко не всем.

В 1920-е и 1930-е он добивался все большего признания. В письмах к жене повествуется об этом, причем не только с гордостью, но и со смущением – поскольку Набоков никогда не искал ни покорного, ни льстивого одобрения. В собеседники он выбирал людей скорее независимых, чем покладистых: язвительного Ходасевича, задиристого Эдмунда Уилсона, напористую Эллендею Проффер, неугомонного Альфреда Апеля. Известный своей непочтительностью, порой даже к Шекспиру, Пушкину и Джойсу, не говоря уже о Стендале, Достоевском, Томасе Манне, Элиоте и Фолкнере, в письмах он выражал отторжение всяческого преклонения перед общественным положением, властью, богатством или репутацией. Он редко откликался на текущие новости, но одна заметка 1926 года вызвала у него настоящий взрыв: «Приехал финляндский президент в гости к латвийскому, и по сему поводу в передовице „Слова“ восемь раз на протяжении сорока шести строк повторяется „высокие гости“, „наши высокие гости“. Вот лижут!»⁵³ Ненависть к чванству породила искрометно-уничтожительную зарисовку критика Андре Левинсона и его трепещущего от почтительности семейства; неотразимые выпады против случайного знакомого Александра Гальперна, «не очень приятненького, осторожнодвигающегося, чтобы не проспать себя, которым он полон»⁵⁴; порицания Кисы Куприной с ее

⁴⁶ Письмо написано около 26 июля 1923 г.

⁴⁷ Письмо от 8 ноября 1923 г.

⁴⁸ Письмо от 9 ноября 1942 г.

⁴⁹ Письмо от 3–4 ноября 1932 г.

⁵⁰ Письмо от 6 апреля 1937 г. *It is unfair* – несправедливо (англ.). *Je fais ce que je peux* – я делаю все, что могу (фр.).

⁵¹ Письмо от 13 апреля 1939 г.

⁵² Письмо от 14 апреля 1939 г. *Dont relax* – не расслабляйся (англ.). *Avenir* – будущее (фр.).

⁵³ Письмо от 24 июня 1926 г.

⁵⁴ Письмо от 21 апреля 1939 г.

«улыбкой „поговорим обо мне“»⁵⁵ или Вериной сестры Софьи – с гадливым упоением Набоков вспоминает, как она извивается в кольцах собственного величия. Дружбу с писателем Марком Алдановым Набоков сумел сохранить, но при этом не преминул посетовать, что тот «как будто впивает похвалу»⁵⁶.

Набоков с юношеским пылом относился к чужим комплиментам – выходя с вечера у друзей в Берлине, где вызвал общее восхищение, он от восторга даже прошелся колесом, однако, делая акробатический трюк, не потерял голову: «...опять похвалы, похвалы... мне начинает это претить: ведь дошли до того, что говорили, что я „тоньше“ Толстого. Ужасная вообще чепуха»⁵⁷; «Чтобы потом не было неловко (как случилось с моими письмами из Парижа – когда я их перечитывал), теперь же и впредь – совершенно отказываюсь от приведения всех тех прямых и косвенных комплиментов, которые получаю»⁵⁸. Габриэль Марсель «хочет, чтобы я повторил *conférence* (которую он перехваливает)»⁵⁹. Он мог критически отзываться о своих предыдущих и даже текущих работах («Не знаю, как сегодня сойдет моя „Mlle“ – боюсь, что длинно и скучно»⁶⁰; «...как мне наплевать на эти мои французские испражнения!»⁶¹). Те, кто путают Набокова с его тщеславными персонажами – Германном, Гумбертом, Кинботом и Ваном Вином, – проявляют недомыслие. Тщеславие для него мишень, а не способ существования.

Набокову случалось проявлять несдержанность и досаду, однако в письмах он по большей части предстает человеком, который судит о других с душевной щедростью и уважением: «А он со своими выдающимися глазами, которые точно вылезают из глазниц, оттого что сдавили его (впалые до болезненности) щеки, – милейший»⁶²; «...я окружен сотнями милейших людей»⁶³; «Он оказался большой упругой душкой»⁶⁴. В парижском метро: «Контролера я как-то спросил, что это такое так хорошо блестит в составе каменных ступеней, – блески, вроде как игра кварца в граните, и тогда он с необычайной охотой, – делая мне *les honneurs du métro*, так сказать, – принялся мне объяснять и показывать, куда нужно стать и как смотреть, чтобы сполна любоваться блеском; если б я это описал, сказали бы – выдумка»⁶⁵.

Как и всякий лепидоптеролог того времени, пойманных бабочек Набоков протыкал булавкой, а потом расправлял, – в результате журналисты впоследствии называли его *Vlad the Impaler* (Влад, сажающий на кол, – так описывают князя Влада Дракулу). Однако в письмах к Вере, очень любившей животных (в частности, они оба перечисляли деньги в Общество борьбы с вивисекцией), снова и снова проявляется его нежность ко всяческим тварям и понимание их прелести: «Я спасаю мышей, их много на кухне. Прислуга их ловит: первый раз хотела убить, но я взял, и понес в сад, и там выпустил. С тех пор все мыши приносятся мне с фырканьем: „*Das habe ich nicht gesehen*“. Я уже выпустил таким образом трех или, может быть, все ту же. Она вряд ли оставалась в саду»⁶⁶. «Душа моя, какой у них кот! Что-то совершенно потрясающее. Сиаковский, темного бежевого цвета, или *taupé*, с шоколадными лапками (...) и дивные

⁵⁵ Письмо от 25 ноября 1932 г.

⁵⁶ Письмо от 24 октября 1932 г.

⁵⁷ Письмо от 12 июля 1926 г.

⁵⁸ Письмо от 24 января 1936 г.

⁵⁹ Письмо от 4 февраля 1937. *Conférence* – лекция (фр.).

⁶⁰ Письмо от 24 января 1936 г.

⁶¹ Письмо от 12 февраля 1937 г.

⁶² Письмо от 19 февраля 1936 г.

⁶³ Письмо от 4 февраля 1937 г.

⁶⁴ Письмо от 21 апреля 1939 г.

⁶⁵ Письмо от 24 февраля 1936 г. *Les honneurs du métro* – метрошные почести (фр.), вместо стандартного *les honneurs de la maison* – домашние почести.

⁶⁶ Письмо от 17 октября 1932 г. *Das habe ich nicht gesehen* – я этого не видел (нем.).

ясно-голубые глаза, прозрачно зеленеющие к вечеру, и задумчивая нежность походки, какая-то райская осмотрительность движений. Изумительный, священный зверь, и такой молчаливый – неизвестно, на что смотрит глазами этими, до краев налитыми сапфирной водой»⁶⁷. «Каким легоньким и послушным кажется здешний щенок – он вчера ушел головой в мой боковой карман и там увяз, отпрыгнув немножко голубого молочка»⁶⁸.

С той же нежностью Набоков относился и к детям. Переход от одних к другим выглядит у него естественно: «На каждом постаменте парового отопления сидит по кошке, а на кухне скулит двадцатидневный щенок-волчонок. А как-то наш щенок? Странно было проснуться нынче без голоса, проходящего на твоих руках мимо моей двери»⁶⁹. Двумя днями позже, все еще из дома Малевских-Малевичей в Брюсселе: «Здесь слуга, Боронкин, с меланхоличным лицом, очень милый, возится со щенком и чудно готовит. Посматриваю на младенцев, – тут все коляски на толстых шинах. Проснулся *en sursaut* вчера с полной уверенностью, что мальчик мой попал ко мне в чемодан и надо скорее открыть, а то задохнется. Напиши мне скорее, любовь моя. Топики, топики, топики – об подножку стульчика на кухне по утрам. Я чувствую, что без меня там вылупляются новые слова»⁷⁰, «...мне мучительно пусто без тебя (и без тепленького портативного мальчика)»⁷¹. В другом письме: «А он, – маленький мой? Мне прямо физически недостает некоторых ощущений, шерсти бридочек, когда отстегиваешь и застегиваешь, поджилочек, шелка макушки у губ, когда держишь над горшочком, носки по лестнице, замыкания тока счастья, когда он свою руку перебрасывает через мое плечо»⁷².

Его завораживала красота маленьких детей, их живость, незащищенность. Про сына двоюродного брата Сергея: «Какая прелесть маленький Ники! Я не мог от него оторваться. Лежал красненький, растрепанный, с бронхитом, окруженный автомобилями всех мастей и калибров»⁷³. Об Ольгином «чрезвычайно привлекательном»⁷⁴ сыне: «Я вложил свою лепту в покупку для Ростислава некоторых носильных вещей. Единственное слово, которое он говорит, – это „да“, с большим чувством и много раз подряд „да, да, да, да, да“, утверждая свое существование»⁷⁵.

Или про семью друга Gleba Струве: «Трое из детей в отца, очень некрасивые, с толстыми рыжими носиками (впрочем, старшая очень *attractive*), а четвертый, мальчик лет десяти, тоже в отца, да в другого: совершенно очаровательный, нежнейшей наружности, с дымкой, боттичелливатый – прямо прелесть. Юленька болтлива и грязна по-прежнему, увлекается скаутством, носит коричневую жакетку и широкополую шляпу на резинке. Чая не было в должное время, зато „обед“ состоял из кулича и пасхи (прескверных) – это все, что дети получили, причем так делается не по бедности, а по распущенности»⁷⁶.

Трепетным отношением Набокова к детям проникнуты образы Давида из «Под знаком незаконнорожденных», Лолиты, Люсетты из «Ады». Ничто не может сильнее отличаться от липкого подглядывания Гумберта за школьницами, чем то, как Набоков смотрит на самую маленькую и хрупкую девочку во дворе берлинской школы, который виден ему из окна панси-

⁶⁷ Письмо от 24 октября 1932 г. *Taupe* – темно-серый (англ.).

⁶⁸ Письмо от 24 января 1936 г.

⁶⁹ Письмо от 22 января 1936 г.

⁷⁰ Письмо от 24 января 1936 г. *En sursaut* – испуганно (фр.).

⁷¹ Письмо от 4 февраля 1937 г.

⁷² Письмо от 6 февраля 1936 г.

⁷³ Письмо от 22 января 1937 г.

⁷⁴ Письмо от 4 апреля 1932 г.

⁷⁵ Письмо от 6 апреля 1932 г.

⁷⁶ Письмо от 11 апреля 1939 г. *Attractive* – привлекательная (англ.).

она: «Учительница хлопала в ладоши, и школьницы – совсем крохотные – бегали и подпрыгивали в такт. Одна, самая маленькая, все отставала, все путалась и тоненько кашляла»⁷⁷.

III

На обложке набоковских «Избранных писем, 1940–1977» Джон Апдайк напишет: «Смотри с любого места, испытаешь восторг. Какой писатель! И право же, какой разумный и порядочный человек». Письма к Вере Евсеевне повествуют о личности Набокова еще больше. Но что они позволяют нам узнать о нем как писателе? Разумеется, это зависит от читающего их, но лично меня поражает несколько вещей. Например, присущая набоковским посланиям подвижность, стремительные перемены тем, интонаций и точек зрения, – они как будто на мгновение воплощают в себе реакцию Веры, или особую речь собеседника, или критика, или героического Сиринга:

«Сейчас барахтаюсь в мутной воде сцены шестой. Устаю до того, что мне кажется, что голова моя кегельбан, – и не могу уснуть раньше пяти-шести часов утра. В первых сценах – тысяча переделок, вычерков, добавок. И в конце концов буду награжден очередной остротой: „...не лишен поэтического дара, но нужно сознаться...“ и т. д. А тут еще ты – молчишь...

Но – дудки! Так развернусь, что, локтем заслонившись, шархнуты боги... Или голова моя лопнет, или мир – одно из двух. Вчера я ел гуся. Погода морозная: прямые розовые дымки и воздух вкуса клюквы в сахаре»⁷⁸.

Не только ласковые слова содержат в себе элемент игры, но и упреки («Сейчас я выйду купить марок, нехорошо, что ты мне так редко пишешь, и бритву-жилетт»⁷⁹), и старания избежать бдительности немецких властей. В 1936–1937 годах, докладывая жене-еврейке, все еще остававшейся в Берлине, сколько денег он заработал чтениями и публикациями за границей, и отсылая эти деньги матери в Прагу или откладывая у посредника для Веры Евсеевны, Набоков постоянно изобретал себе прозвища (Григорий Абрамович, Виктор, Калмбруд), а сумму, заработанную очередным подставным лицом, обозначал постоянно менявшимися словами: книги, журналы, страницы, колонки, бабочки и даже «Семенлюдовичи»⁸⁰ (поскольку она знала Семена Людвиговича Франка, а он писал из Брюсселя, можно было догадаться, что речь идет о бельгийских франках).

Создаваемые им образы превращали доuku – день за днем в 1926 году повествовать о житейских мелочах – в искреннюю радость («Погодка была ничего утром: мутненько, но тепло, небо прокипяченное, в пленках – но ежели их раздвинуть ложечкой, то совсем хорошее солнце, и следственно, я надел белые штанишки»⁸¹) или в преувеличенную романтику («Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, „не снимая шляпы“), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов»⁸²); наделяли бессмертием человека или пейзаж («Как он, Бунин, похож на старую тощую черепаху, вытягивающую серую, жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой!»⁸³); а также снимали раздражение от пограничной волокиты («Жизнь моей немецкой визы – этого лишая на разрушающейся стене паспорта»⁸⁴).

⁷⁷ Письмо от 2 июня 1926 г.

⁷⁸ Письмо от 14 января 1924 г.

⁷⁹ Письмо от 11 июня 1926 г.

⁸⁰ Письмо от 27 января 1936 г.

⁸¹ Письмо от 10 июня 1926 г.

⁸² Письмо от 8 ноября 1923 г.

⁸³ Письмо от 13 февраля 1936 г.

⁸⁴ Письмо от 24 февраля 1936 г.

За всем он наблюдает с жадностью – за животными, растениями, лицами, характерами, речью, небесными, земными, городскими пейзажами («В метро воняет, как в промежутках ножных пальцев, и так же тесно. Но я люблю хлопанье железных рогаток, росчерки („merde“) на стене, крашенных брюнеток, вином пахнущих мужчин, мертво-звонкие названия станций»⁸⁵). Оливер Сакс, музыкофил и выдающийся психолог, справедливо относит Набокова к случаям амузыкальности («...для меня музыка, – признался он в автобиографии, – всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний»⁸⁶), однако, судя по письмам, в определенных обстоятельствах музыка доставляла Набокову удовольствие: «Вернувшись восвояси, часок почитал – и удивительно играл танцевальную музыку „громкоговори-тель“ во дворе. Скрипичное томление саксофона, свирельные пируэты, мерный бой струн...»⁸⁷; «...поехали к цыганам в очень симпатичное русское заведение Au Papillon bleu. Там пили белое вино и слушали действительно прекрасное пение. Настоящие цыганки плюс Полякова»⁸⁸.

Сумбурное чтение Набокова почти непредсказуемо: он не только, как того ожидаешь, перечитывает Флобера, Пруста и Джойса, но случаются и сюрпризы: советская художественная проза (он заставляет себя с ней знакомиться), Анри Беро, Ральф Ходжсон или Арнольд Беннет – и их он читает с энтузиазмом. Еще ценнее то, что в письмах к Вере отражено, как Набоков пишет, задокументированы всплески его вдохновения. Перед нами предстают самые разнообразные жанры – стихи, пьесы, рассказы, романы, мемуары, киносценарии, переводы, – которые приходят ему в голову и исчезают в никуда, подобно блуждающим огням вокруг роши завершенных сочинений. Притом что большая часть писем относится к раннему периоду и не может ничего сообщить о его великих англоязычных романах или даже о замечательных русских произведениях позднего периода (во время поездок в Париж и Лондон в 1930-е годы он был слишком занят налаживанием деловых связей и поиском издательских возможностей, чтобы найти время на создание чего-то нового), в письмах 1920-х годов отражена напряженная творческая работа над первым его крупным сочинением, «Трагедией господина Морна», генезис и процесс создания двух стихотворений, в том числе одного из лучших – «Комнаты». Странный замысел рассказа про комнату трансформируется в стихотворение и теперь помогает лучше его понять. Но наиболее интересен путь создания стихотворения «Тихий шум», ибо благодаря письмам мы можем проследить этот процесс от досады до победы. Набоков стал звездой первого берлинского Дня русской культуры 1925 года, а год спустя решил превзойти самого себя. В его распоряжении было всего несколько суток, он тревожился из-за того, что ничего не готово... Потом возник ритмический ряд, предшествующий появлению стихотворения, потом – отвращение к первоначальным ностальгическим клише, выплеснувшимся из ненадолго закупорившейся трубы его воображения. Затем нахлынули недавние впечатления, в том числе указание в письмах несколькими днями раньше на то, как он начал раздумывать над новым стихотворением; бывшие воспоминания и нынешние ощущения (например, хлопанье воды в клозете) соединились во фрагменты, ставшие вдруг строфами, – их образы все сильнее захватывают его перед засыпанием. По пробуждении он идет на дом к ученику и наконец, во время визита в квартиру к Вериной двоюродной сестре, переносит стихотворение на бумагу, выучивает наизусть, а потом с триумфом декламирует – и его раз за разом вызывают на бис.

Письма к жене Набоков писал отнюдь не для будущих читателей, что особенно отчетливо видно из посланий 1926 года, где он держит слово и подробно описывает, что ел, во что одевался, что делал. Поэтому письма к Вере Евсеевне разительно отличаются от писем к

⁸⁵ Письмо от 2 февраля 1936 г. *Merde* – дерьмо (*фр.*).

⁸⁶ *Sacks O. Musicophilia: Tales of Music and the Brain*. N. Y.: Knopf, 2007. P. 102; *Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited*. N. Y.: Putnam, 1967. P. 35–36. (Цитата приводится по тексту «Других берегов». – *Примеч. переводчика.*)

⁸⁷ Письмо от 27 июня 1926 г.

⁸⁸ Письмо от 28 или 29 октября 1932 г.

Эдмунду Уилсону⁸⁹. В последних – сходство и несходство их литературных вкусов заставляет Набокова задействовать все силы своего мастерства. Помимо прочего, он не может не отдавать себе отчета в том, что рано или поздно переписка с Уилсоном будет опубликована. К концу 1960-х он стал, пожалуй, самым знаменитым из живущих писателей. В 1968 году Набокову прислали из Праги его письма к родителям; узнав об этом, Эндрю Филд, автор первого получившего широкую известность исследования творчества Набокова, попросил у супругов разрешения начать работу над его биографией. Проект был одобрен, и Филд, приехав в конце 1970 года в Монтрё, снял фотокопии с этих писем (при этом от него были скрыты некоторые наиболее личные пассажи), а также с нескольких писем к Вере Евсеевне, особенно за 1932 год, где говорилось о том, как Набокова принимали в русских и французских литературных кругах. Отдельные фрагменты этих писем супруги также предпочли утаить, зато Набоков раскрыл для Филда личность некоторых упомянутых в них людей. Возможно, именно перед приездом Филда Вера Евсеевна и уничтожила свои послания к мужу.

Почти все свои письма к жене Набоков написал, не предполагая, что потомки будут заглядывать ему через плечо. Однако в Таормине в апреле 1970 года, во время их последней многодневной разлуки (если не считать вынужденных пребываний в близких больницах, которыми отмечены 1970-е годы), зная, что Филд собирается писать его биографию и увидит некоторые из его писем к ней, Набоков не мог не задуматься о том, что часть их переписки может попасть в печать. Послание из Таормины домой в Монтрё⁹⁰ великолепно сочетает в себе стиль его поздних публичных выступлений – пародию, поэзию, стремительность слога и словесную игру – и при этом отражает их с Верой необыкновенную близость. В отличие от многих предыдущих писем, где слышны тревожные отзвуки их неопределенных жизненных ситуаций, это письмо пронизано покоем, который принесли слава, достаток, наличие свободного времени и почти полвека, прожитые вместе. Но в последующих письмах из этой последней связки он, судя по всему, меньше думает о потомках, очевидно вернувшись к стилистике ежедневной корреспонденции с женой. Письма завершаются – Вера Евсеевна вот-вот должна присоединиться к мужу – своего рода предчувствием того, что это, может быть, его последняя возможность писать день за днем для одной только ее:

«Теперь жду тебя. Немножко жалко в каком-то смысле, что кончается эта (пере)писка, обнимаю и обожаю.

Буду записывать белье, а затем около девяти пойду собирать.

В.»

⁸⁹ См.: The Nabokov – Wilson Letters: Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940–1971 / Ed. by Simon Karlinsky. N. Y.: Harper & Row, 1979; Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001.

⁹⁰ Письмо от 10 апреля 1970 г.

Письма к Вере

1. Ок. 26 июля 1923 г.

Солье-Пон, Домэн-де-Больё – Берлин

Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это – шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить – сотрешь прикосновением слова их изумительную пыльцу... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты...

И хороши, как светлые ночи, все твои письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов. Я нашел и его, и предыдущее, по возвращению из Marseille, где я работал в порту. Это было третьего дня – и я решил тебе не отвечать, пока ты мне не напишешь еще. Маленькая хитрость...

Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семечками. Есть крошечный русский ресторанчик, в самой грязной части Marseille. Я харчил там с русскими матросами – и никто не знал, кто я и откуда, и сам я дивился, что когда-то носил галстух и тонкие носки. Мухи кружились над пятнами борща и вина, с улицы тянуло кисловатой свежестью и гулом портовых ночей. И слушая, и глядя – я думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю название черепных костей, бактерий, растительных соков. Странно было.

Очень тянет меня и в Африку, и в Азию: мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай. Но две вещи заставляют меня вернуться на время в Берлин: первая – то, что маме уж очень одиноко приходится, вторая... тайна – или, вернее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить... Выезжаю я 6-го, – но некоторое время пробуду в Ницце и в Париже – у человека, с которым я учился вместе в Cambridge. Ты, вероятно, знаешь его. Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, – найду... До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь. Вот тебе стихи:

ВЕЧЕР

Зовешь, – а в деревце гранатовом соенок
полаивает, как щенок.
В вечерней вышине так одинок и звонок
луны изогнутый клинок.

Зовешь, – и плещет ключ вечернею лазурью:
как голос твой, вода свежа,
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,
луна вонзается, дрожа.

ЗНОЙ

Я стер со лба уколы капель жгучих
и навзничь лег на скользкий теплый скат,
где голосами сплюснутых цикад

гремело солнце в сосенках пахучих.

И я поплыл в пылающую тьму
дня южного – под пьяный плеск тимпана,
под лепет флейт, и рот пурпурный Пана
прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим – две драмы, «Дедушка» и «Полюс». Первая будет в альманахе «Гамаюн» – вторая в след, номере «Русской мысли».

Вернулся из брака в Париж: первое – то, что мало
узнаю о жизни одиноко существа, – второе... тайна – или
второе тайна, которую много людей хотели
разгадать...! Вспомнил я 6^{го} – то некоторые фразы
звучат в жизни и в парижской – ту главу о
которой я писал в письме к Сандвичу, та
глава о жизни его. Моему отцу в Париже
я буду 10^{го} или 11^{го}. Но если тебе не будет там
я приду к тебе – найду... Во всяком случае, моя
страсть радости, моя потребность. Вот тебе стихи:

Вспомни

Звезда, – а в деревне улановых соборных
поламывает, как вишня.
Во второй жизни твой одинокий и звонкий
дух цыганский клан.

Звезда – и тишина моего восточного лазуря:
как белый дым, вода света –
и в темноте твоих, лоскутков лазуря,
дух, восточный, дрожа.

Значит

Я стою со мной у края капли жаркой
и нахожу себя на склоне темной скалы,
до волосаи сплоснувшись грядой
граней солнца в восточных лазурях.

И я поплыл в пылающую тьму
дня южного – под пьяный плеск тимпана,
под лепет флейт – и рот пурпурный Пана
прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим – две драмы – «Дедушка» и «Полюс». Первая будет в альманахе «Гамаюн» – вторая в след. номере «Русской мысли».

В

2. 8 ноября 1923 г.

Берлин – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

8 – XI – 23

Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой – со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить – что слова не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья – такого острого! – что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, – понимаешь ли, мое счастье?

И я знаю: не умею я сказать тебе словами ничего, а когда по телефону – так совсем скверно выходит. Потому что с тобой нужно говорить – дивно, как говорят, например, с людьми, которых больше нет, – дивно, понимаешь, в значенье чистоты и легкости и душевной точности, а я – *je ratauge* ужасно. Меж тем тебя можно ушибить некрасивым уменьшительным – оттого что ты вся такая звонкая, как морская вода, хорошая ты моя.

Я клянусь – и...⁹¹ клякса тут ни при чем – я клянусь всем, что мне дорого, всем, во что я верю, – я клянусь, что *так*, как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить, – с такою нежностью – до слез – не таким чувством сиянья. На этом листке, любовь моя, я как-то (Твое лицо межд)⁹² начал писать стихи тебе, и вот остался очень неудобный хвостик – я спотыкнулся. А другой бумаги нет. И я больше всего хочу, чтобы ты была счастлива, и мне кажется, что я бы мог тебе счастье это дать – счастье солнечное, простое – и не совсем обыкновенное.

И ты должна простить меня за мелочность мою – за то, что я с отвращением думаю о том, как – *practically* – я буду завтра отсылать это письмо, а вместе с тем готов отдать тебе всю кровь мою, коли нужно было бы, – трудно это объяснить – звучит плоско, – но это так. Вот, скажу тебе – любовью моей можно было бы заполнить десять веков огня, песен и доблести – десять целых веков, громадных и крылатых, полных рыцарей, въезжающих на пламенные холмы, – и сказаний о великанах – и яростных Трой – и оранжевых парусов – и пиратов – и поэтов. И это не литература, ибо, если перечтешь внимательно, увидишь, что рыцари оказались толстыми.

Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя. И знаешь, оказывается, что вовсе не ЕсИбоп выдумал телефон, а какой-то другой американец – тихий человек, фамилию которого никто не помнит. Так ему и надо.

Слушай, мое счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? Как мне хочется тебя увести куда-нибудь с собой – знаешь, как делали этикие старинные разбойники: широкая шляпа, черная маска и мушкет с раструбом. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо нужна... Глаза твои – которые так изумленно сияют, когда, откинувшись, ты рассказываешь что-нибудь смешное, – глаза твои, голос твой, губы, плечи твои – такие легкие, солнечные...

Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку – она как бы попросила у меня прощенье за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, мое солнце? Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я *должен* был бы уехать. А так – просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода «будь что будет». Безвольное и волевое. Прости мне – но я живу вторым.

⁹¹ В рукописи клякса.

⁹² Начало стихотворной строки, написано перпендикулярно основному тексту, который ее окружает, и взято в скобки.

И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чем я думать боюсь – такое это было бы счастье...
Вот опять – хвостик.

Да: старомодная медлительность речей,
стальная простота... Тем сердце горячее:
сталь, накалившая полетом...

[illegible]

Это кусочек моей поэмы – не вошедший в нее. Записал как-то, чтобы не забыть, и вот теперь – заноза.

Все это я пишу, лежа в постели, опирая локоть об огромную книжку. Когда я долго ночью работаю, то у одного из портретов на стене (какая-то прабабушка нашего хозяина) делаются пристальные пренебрежительные глаза. Очень хорошо, что я дошел до конца этого хвостика; очень мешал.

Любовь моя, спокойной ночи...

Не знаю, разберешь ли ты это безграмотное письмо... Но все равно... Я люблю тебя. Буду ждать тебя завтра в 11 ч. вечера – а не то позвони мне после 9 часов. В.

3. 30 декабря 1923 г.

Прага – Берлин

30 – XII – 23
Praha Trida Svornosti, 37
Smichov

Дорогое мое счастье,

какая ты была прелестная, хорошая, легкая на этом суматошном вокзале... Ничего я не успел сказать тебе, счастье мое. Но из окна вагона я видел тебя, и почему-то, глядя, как ты стоишь, локтями прижимая шубу и засунув руки в рукава, – глядя на тебя, на желтое стекло в вокзальном окне за тобой и на твои серые ботики – один в профиль, другой en trois quarts, – почему-то именно тогда я понял, как я люблю тебя, – и затем ты так хорошо улыбнулся, когда заскользил поезд. А знаешь – ехали мы совершенно исключительно плохо. Вещи наши были рассыпаны по всему поезду, и до границы пришлось торчать стоймя, на сквозняке. Мне так хотелось показать тебе, как забавно пристал к внутренней части тех, знаешь, кожаных фартуков, которые соединяют вагоны, снег мерзлый, похожий на серебряную кукурузу, – ты бы оценила.

Представь себе три комнатки: мебель – некрашенный стол, дюжина стульев, таящих занозы, семь постелей – сплошь деревянных, без матрацов, с перекладинами вместо днища, и одной кушетки, купленной по случаю. И все. На перекладины протягивается тюфяк – но чувствуешь насквозь деревянные ребра эти, так что утром такая ломота... а в кушетке обитают клопы, которые исчезли было после скипидарной атаки, но вот сегодня появились на потолке, откуда они будут ночью, как жаворонки, падать на спящих – на меня и на Кирилла: я ему рассказал, что двенадцати (через «е» правильнее) клопов довольно, чтобы умертвить человека, но, вспомнив, как ты чудно говоришь: он ведь маленький! – взял, как говорится, слова свои обратно. Добавь ко всему этому неистовый холод в комнатах и нежеланье двух изразцовых печь топиться (что, конечно, для них было бы неприятно), и ты получишь изображение нашей жизни здесь. Денег нет совершенно, вилок тоже, так что приходится питаться бутербродами. При первой возможности я перевезу маму обратно в Берлин, куда сам приезжаю 5 апреля – минус восемьдесят пять дней (высчитала?). Прагу я еще не видал – да вообще мы с нею в ссоре.

Слушай: как только буду иметь возможность, позвоню тебе отсюда по единственному телефону, находящемуся в этом городе: в доме Крамаржа. Постараюсь – двадцать третьего (ст. ст.) в 7 часов.

Я тебя очень люблю. Нехорошо люблю (не сердись, мое счастье). Хорошо люблю. Зубы твои люблю. Сейчас я работал, сидел у меня Морн, – он просит передать тебе «сердечный привет». Любовь моя, знаешь, мне просто очень скучно без тебя. У меня такое чувство, будто ты все стоишь на вокзале, как я видел тебя на последях, – точно так же, как тебе, вероятно, все кажется, что я стою у вагонного окна, в котелке. До суда – испанский твой роман прелестен, дальше – плохо. Завтра передам пакет.

Как мне хотелось бы, чтоб ты сейчас мне говорила – проникновенно так: но ты ведь мне обещал?! Люблю тебя, мое солнце, моя жизнь, люблю твои глаза – закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные гласные, всю душу твою от головы до пят. Я устал. Ложусь. Люблю тебя.

В.

4. 31 (?) декабря 1923 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

3(1) – XII —23

Trida Svornosty, 37

Smichov Praha

От тебя еще ни слова, моя любовь, – вероятно, завтра будет. А если нет? Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе («Ах, ты не думал!...»). Нет, – это просто оборот речи, чтобы сказать тебе, моя хорошая, мое счастье, how I long for you (как ты мне нужна). А меж тем я отсюда выберусь только 17-го – хочу кончить моего Морна, а то еще один переезд, и он рассыплется. Это человек, который совершенно не переносит чувство новоселья. Вчера за весь день я написал всего *две строчки*, и то я их вычеркнул сегодня. Сейчас пошло неожиданно хорошо, так что завтра кончу первую сцену третьего акта. Я почему-то очень touchy относительно этой вещи. Зато с каким наслаждением я читал ее двум людям – тебе и вот на днях маме. Третий человек, который понимал каждую запятую, оценивал мне дорогие мелочи, – был мой отец. Мама всегда вспоминает это, когда я читаю что-нибудь, – и больно.

Только что я написал Татаринову, прося его 6-го или 7-го поместить в «Руле» объявление, что я (имя рек) ищу комнату с пансионом в русской семье. Иначе выйдет слишком дорого. Твой пакет я, к сожаленью, оставил в поезде. Я в «полном отчаянии»! На самом же деле я третьего дня отнес его по адресу, – который ты написала едва слышным шепотом... Знаешь, что мне сейчас захотелось? Видеть, как ты приседаешь на одно колено, всходя с мостовой на панель (Аставь!...). Я тебя сегодня так люблю, что, кажется, пишу глупости.

Вот что я пока заметил в Праге: очень много ломовых и на магазинах такие надписи, как когда француз вставляет в роман русские словечки, желая щегольнуть, – и щеголяет безграмотно. Кроме того, здесь есть широкая река – подо льдом. Кое-где расчищены площадки под каток. На каждом таком ледяном квадрате катается по одному мальчишке, ежеминутно шлепаясь. На него смотрят зеваки с громадного старинного моста, по которому влачится ломовик за ломовиком. У одного конца моста стоит толстый человек в мундире, и каждый прохожий должен платить ему медяк за право перехода на другую сторону. Обычай старинный, феодальный. Трамваи маленькие, краснобокие, и внутри, на крюках, висят последние журналы – для общего пользования. Хороший город?

Вчера мне один профессор рассказывал, что, когда его дочке было всего несколько месяцев, она часто притворялась, что падает в обморок. Потом, когда она немного подросла, он ее пугал следующим образом: он сидит, читает, она играет на полу. Вдруг он опускает книгу, делает страшные глаза, проводит рукою по лбу и говорит медленно: «Знаешь, Машенька, я, кажется, превращаюсь в орла...» Она – в слезы: «Вот всегда тебе что-нибудь кажется, когда никого нет в квартире...»

Завтра в семь часов я постараюсь с тобой «созвониться». Это будет, вероятно, мучительно, – но мне хочется услышать хоть краешек твоего голоса. А что-то будет в Берлине, моя любовь? Поедешь ли ты со мной в Америку? О, если б ты знала, как мне противна этакая угловатая жизнь, денежная суета, отвратительные переводы, над которыми нужно корпеть, – и гроши, гроши... А я ведь bourgeois в житейских вещах. Автомобили Крамаржа, его мраморная ванна, слуги – меня бесят... Buff он надевал кружевные маншеты, когда садился работать. Мне, понимаешь, нужны удобства не ради удобств, а затем, чтоб не думать о них – и только писать, писать – и развернуться, громыхнуть... А в конце концов – кто знает, – может быть, оттого, что я пишу «Господина Морна», сидя в шубе, на арестантской кровати, при свете огарка (это, впрочем, почти поэтично), он выйдет еще лучше. Не терпится мне прочитать тебе пятую сцену.

Знаешь ли ты, что ты – мое счастье? Ты вся создана из маленьких стрелчатых движений – я люблю каждое из них. Думала ли ты когда-нибудь о том, как странно, как легко сошлись наши жизни? Это, вероятно, у Бога, скучающего в раю, вышел пасьянс, который выходит не часто. Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость, словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли. Когда Монтекристо приехал в купленный им дворец, он увидел, между прочим, на столе какую-то шкатулку и сказал своему мажордому, который приехал раньше, чтобы все устроить: «Тут должны быть перчатки». Тот просиял, открыл эту ничем не замечательную шкатулку, и действительно: перчатки. Я немного запутался в образе – но это как-то относится к тебе и ко мне. Знаешь, я никому так не *доверял*, как тебе. Во всем сказочном есть черта доверчивости.

Я боюсь, это вышло очень спотыкающееся письмо. И не совсем грамотное. Я за последнее время столько говорю пятистопным ямбом, что трудно писать прозу. Слушай: позвони как-нибудь на бывшую мою квартиру в полночь или даже позже. Я то же просил сделать Татаринových и Струве. Жильцов хочу обрадовать.

Целую тебя, мое счастье, – и ты помешать мне не можешь...

В.

5. 8 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

Hullo! (слегка задыхаясь). Здра-аствуй (тихо и мягко – такое слово-подушечка).

Нет, не удалось мне позвонить тебе, моя любовь... Зато получил сегодня – наконец – твое чудное (звездное!) письмо. Ты знаешь, мы ужасно похожи друг на друга... Например, в письмах: мы оба любим 1) вставлять незаметно иностранные слова, 2) выдерживать из любимых книг, 3) переводить впечатление одного чувства (например, зрительного) на впечатление другого чувства (например, вкусового), 4) просить в конце извинение за мнимый вздор; и еще многое другое. Ты очень хорошо написала про себя, моя хорошая: я тебя *увидел*. И захотелось еще больше растрепать. А в маске ты действительно не смеешь ходить. Ты – моя маска... Хочешь знать, какой у меня вид из окна, благо любишь снег? Так вот: широкая белизна Молдавы, и по белизне этой с одного берега на другой проходят черные силуэтики людей, похожие на нотные знаки: так, например, фигурка какого-нибудь мальчишки тянет за собой значок диеза: санки. За рекой – снежные крыши в далеком легком небе; а направо – тот феодальный мост, о котором я уже тебе писал.

Морн растет, как пожар в ветряную ночь! У меня осталось всего две сцены сочинить, причем уже есть самый конец последней – восьмой – сцены. Я пишу Лукашу, что это все – блистательный пустяк, но не верю... Впрочем...

Господи, как я хочу тебя видеть... Глаза мои милые... Не знаю, что с тобой сделаю при встрече. Не могу дольше писать сегодня – надо идти на вечер. Меня вывозят в свет! Из моих знакомых тут только вечно юный Сергей Маковский. Люблю тебя. Бесконечно.

В.

Только что вернулся с вечера у Крамаржа. Непременно должен тебе привести диалог, который там «имел место» (галлицизм).

Дама (пожилая).

А как вам нравится Прага? (следует несколько строк относительно красоты Праги. Пропускаю. Затем:)

Вы поступаете в здешнюю гимназию, не правда ли?

Я.

???

Дама.

Ах, простите, – у вас такое молодое лицо... Значит, вы будете слушать лекции. Какой факультет?..

Я (с грустной улыбкой).

Я кончил университет два года тому назад. Два факультета – естественный и филологический.

Дама (теряется).

А... вы, значит, служите?

Я.

Музе.

Дама (немного оживляется).

Ах, вы – поэт. И давно пишете? Скажите, вы читали Алданова – занятно, не правда ли? Вообще, в наше трудное время книги очень помогают! Возьмешь, бывало, Волошина или Сирина – и сразу на душе легче. Но сейчас, знаете, книги так дороги...

Я.

Да, чрезвычайно дороги (и скромно удаляюсь инкогнито).

Веселенький разговор? Я тебе привел его *буквально*.

Счастье мое, знаешь, завтра ровно год, как я разошелся с невестой. Жалею ли? Нет. Это должно было так случиться, чтоб я мог встретить тебя. После «Господина Морна» я напишу второе – заключительное – действие «Скитальцев». Вдруг захотелось. А сейчас тушу свечу – и спать. Нет, еще почитаю немножко. Люблю тебя, моя хорошая. Пиши мне почаще – а то я не могу. И семнадцатого встретить на вокзале.

В.

6. 10 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

10 – 1 – 24

Smichov, Trida Svornosty, 37

Prague

Любовь моя, сегодня я был уверен, что влетит ко мне сестра с криком: «Письмо от Madame Bertrán!» – ан нет. Очень мне грустно стало... «Что письма? – белые заплатки на черном рубище разлук» (парафраза известного стиха господина Лермонтова).

Вчера был вечер, сошедший с фламандского полотна, неподвижный в туманной поволоче. Над снегами, в тумане, закат просвечивал нежно и смутно, как непроявленные цвета декалькомании (знаешь?). Перейдя реку по льду, я поднялся на холм – белый, в черных кустах голой бузины; холм с одной стороны обрывается вниз крепостной стеной, а на вершине его стоит темный двухбашенный собор, схваченный кое-где червонной резьбой, – словно лег славянский отблеск на готическую геометрию. Тут же, за чугунной оградой, находится и католическая скудельница: ровные могилки, золотые распятия. Над дверью храма – дуговой барельеф, оканчивающийся по бокам двери двумя головами – лепными выпуклыми лицами двух... шутов. У одного крупные, лукавые черты, лицо другого искажено кривою усмешкой презренья; оба – в тех лопастьях кожаных шапках-капюшонах (напоминающих одновременно и крылья летучей мыши, и петушинный гребень), в которых ходили средневековые шуты. На других дверях я нашел еще несколько лиц таких – и выражение у всех разное: у одного, например, прекрасный, строгий профиль – под складками грубого убора: ангел-шут. Мне нравится думать, что ваятель, обиженный нещедрой наградой, скупостью хмурых монахов, которых ему поручено было изобразить на стенах, обратил их лица, не меняя сходства, в лица шутов. А может быть, – это есть мне милый символ, – что только через смех смертные попадают в рай... Ты согласна?

Я обошел собор по скользкой тропе, между сугробов. Снег был легкий, сухой:хватишь в горсть, кинешь – он пылью рассыпается в воздухе, словно летит назад. Небо померкло. В нем стояла тонкая, золотая луна: половинка разбитого венчика. Шел я по краю крепостной стены. Внизу в густе(ю)щем тумане лежала старая Прага. Громоздко и смутно теснились снежные крыши; дома казались свалены кое-как, – в минуту тяжелой и фантастической небрежности. В этой застывшей буре очертаний, в этой снежной полумгле горели фонари и окна теплым и сладким блеском, как обсосанные пуншевые леденцы. В одном месте только виднелся и алый огонек: капля гранатового соку. И в тумане кривых стен, дымных углов я угадывал древнее гетто, мистические развалины, переулок Алхимиков.... А на обратном пути я сочинил небольшой монолог, который Дандилио скажет в предпоследнем действии:

...вещество

должно истлеть, чтоб вещество воскресло, —
и, если символ древний разгадать, —
выходит так, – вы, Тременс, проследите:
пространство – Бог, и вещество – Христос,
и время – Дух. Отсюда – вывод: мир
божественен, и потому все – счастье,
и потому должны мы распевать,
работая (ведь бытие и значит

на этого работать властелина
в трех образах: пространство, вещество
и время), но кончается работа,
и мы на праздник вечности уходим,
дав времени воспоминанье, облик —
пространству, веществу — любовь...

На что Тременс отвечает: «Крайности сходятся, я с вами согласен, — но то-то и есть, что я бунтую против властелина — бытие: не хочу работать на него, а сразу отправиться на гулянки».

Несмотря на мою литературу, я тебя очень люблю, мое счастье, — и очень сержусь на тебя, что ты не пишешь мне. Все эти дни я нахожусь в напряженном и восторженном настроении, так как сочиняю «буквально» не переставая.

Мне говорили, что в «Руле» есть заметка госпожи Ландау о нашем агасферическом чтении. Ты читала?

До скорого, моя хорошая. Ты меня не «разлюбила»?

В.

7. 12 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

12 – 1 – 24

12 часов ночи

«Ты безглагольна, как все, что прекрасно...» Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты моя любовь. Посылаю тебе мой лик, который случайно нашел у мамы (а у нее еще один такой же). Снялся я два года тому, в Кэмбридже of sweet memories, накануне экзамена, – чтобы в случае «провала» найти знак обреченности, фатальную черточку в своем изображении. Но, как видишь, я горд и беспечен.

Вчера наконец приехала наша мебель u. s. w. Оказывается, она пространствовала окружным путем (Гамбург – Америка – Сингапур – Константинополь) – чем и объясняется задержка. Теперь квартира наша немного повеселела, т. е. сперва было в каждой комнате (крошечной!) по одному стулу, теперь их целый полк – что напоминает вид комнаты, где показывают детям волшебный фонарь. (Мокрое полотно и длиннейшие объяснения при каждой картине: я ненавидел это в детстве.) Знаешь ли, что на обложке первого номера «Граней» наши фамилии рядом. Символ?

Сейчас у меня сидел Кадашев-Амфитеатров и рассказывал о знаменитых опечатках: в одной провинциальной газете было напечатано вместо «Богородицы» – «пуговица», – власти, конечно, не заметили бы, – но газета на следующий день извинилась за ошибку – и тут ее мгновенно прихлопнули. А Немирович-Данченко поругался со «Сполохами» за то, что в одном его рассказе, в самом драматическом месте, вместо «Бэппо, седлай коня!» было уютно и скромно напечатано «Бэппо, сделай коня!». Вот какие бывают истории...

Лампы тоже приехали, так что сейчас бумага и моя пишущая рука купаются в конусе света.

Сегодня произошло несчастье: мы пошли навещать с мамой и Кириллом одного больного профессора. Кирилл тащил санки. Попался мне на глаза высокий и крутой снежный скат, – я решил показать, что значит скатываться. Лег ничком на санки, посадил его к себе на спину – и оттолкнулся. (Меж тем собралась толпа зевак.) На половине пути что-то хрястнуло – и я уже летел без салазок и без Кирилла в вихре снега. Оказалось: одна из полозьев не выдержала, сломалась (я очень потолстел за это время). Плач и упреки продолжались несколько часов. А вот что говорит Морн, прощаясь с Мидией:

...ты уйдешь.

Забудем мы друг друга. Но порою
название улицы или шарманка,
заплакавшая в сумерках, напомнят
живее и правдивее, чем может
мысль воскресить и слово передать,
то главное, что было между нами,
то главное, чего не знаем мы...
Тогда-то в час, когда душа почует
очарованье мелочи былой,
поймет душа, что в вечности все вечно:
мысль гения и шуточка соседа,
Тристаново страданье колдовское
и самая летучая любовь.

...вроде твоей (сердишься?). Душка моя, я тебя сегодня очень хорошо, очень радостно люблю – ты не знаешь как...

Вчера я видел тебя во сне – будто я играл на рояли, а ты переворачивала мне ноты...

В.

8. Не позднее 14 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

Число – неинтересно.

Адрес – все то же, «свороности».

Ты не находишь ли, что наша переписка несколько... односторонняя? Я так обижен на тебя, что вот начинаю письмо без обращения. Сперва я решил тебе послать просто чистый лист бумаги с маленьким вопросительным знаком посередине, но потом пожалел марку. Правда – почему ты не пишешь мне? Это мое пятое письмо – а от тебя я получил только одно. Или, может быть, ты больна? Или опять – «острые углы»? Или, наконец, ты так поступаешь с целью, чтоб я тебя забыл? Удивительно плохо я пишу сегодня.

Мне приходится отложить мой приезд в Берлин на неопределенный срок, ввиду бесконечной медлительности, с которой я работаю. Иногда после целого дня творческих потуг мне удается написать всего две-три строки. Я выкинул из второй сцены рассказ Клияна и все, что относится к этому месту. Сейчас барахтаюсь в мутной воде сцены шестой. Устаю до того, что мне кажется, что голова моя кегельбан, – и не могу уснуть раньше пяти-шести часов утра. В первых сценах – тысяча переделок, вычерков, добавок. И в конце концов буду награжден очередной остротой: «...не лишен поэтического дара, но нужно сознаться...» и т. д. А тут еще ты – молчишь...

Но – дудки! Так развернусь, что, локтем заслонившись, шарахнутся боги... Или голова моя лопнет, или мир – одно из двух. Вчера я ел гуся. Погода морозная: прямые розовые дымки и воздух вкуса клюквы в сахаре.

Семнадцатое число близится, но на какую берлинскую улицу я в этот день попаду – где буду жить, – не вею. Татаринцев не пишет, мой boss не пишет, Дроздов не пишет, ты не пишешь... Я один пишу – и то неважно.

Повторяю, что это очень нехорошо с твоей партии. А если ты меня не любишь – скажи прямо. Искренность раньше всего! Впрочем, ты – мое счастье.

В.

9. 16 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

16 – 1 – 24

Спасибо, моя любовь, за твои два изумительных письма. Вот глупый афоризм, который я придумал: пером пишет ум, карандашом – сердце.

Счастье мое, я и 17-го не могу приехать. Кроме трагедии, есть другая побочная причина, – которая, к сожалению, важнее первой. Дело в том, что, говоря грубо, я жду из Берлина денег (за те переводы). Мне обещали их прислать 7-го, – с тех пор прошло десять дней – и я все жду. Как только я получу их, в тот же день я и уеду отсюда, – а это может случиться хоть завтра. У меня кое-что с собой было, но вчера пришлось все ухлопать на хозяйственные нужды; меж тем приехать в Берлин с пятью марками, на ура, – опасно. Трагедия же не сегодня завтра дойдет до такой точки, после которой ее можно будет кончать где угодно. Я так раздражен всем этим, что с трудом пишу тебе.

Если бы я встретил того косматого троглодита, который первый додумался до того, чтобы пойти к соседу по пещере предложить ему оленью шкуру за горсть самоцветов, я бы охотно оторвал ему голову. Милая ты моя любовь, радость моя, вот как вышло! Я не приезжал из-за одной глупой причины, а теперь появилась другая, еще глупее, – почти похожая на предлог. И теперь занимает меня только – ты, – никаких Морнов мне не нужно. Да, новый год начался довольно коряво.

Прости, что я писал тебе глупости, но мозги у меня растрепались, выпали шпильки: я какой-то простомозговой, как бывают люди простоволосые... Понимаешь ли?

Подожду еще денька два-три и отправлюсь в Берлин пешком. Когда бывает солнце, ты – пушистая. Я все еще не знаю, что сделаю с тобой, когда приеду. А насчет этих самых мудрецов ты меня не переубедишь! Я читал Нилуса и Красного – *c'est tout dire*. Знаешь ли, например, что землетрясения в Японии устроили масоны? Люблю тебя действительно больше солнца. В.

ВИДЕНИЕ⁹³

В снегах полуночной пустыни
мне снилась мать всех берез,
и кто-то – движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес:

нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб;
и под березой одинокой,
в бледно-пылящемся сугроб,

склонился, в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам чистейшим и немым.

И вся пустыня снеговая,

⁹³ Написано на обороте письма.

молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.

В просветы лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу:

Там на могиле этой снежной
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа...

Вл. Сирин

10. 17 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

17 – 1 – 24

Любовь моя, я возвращаюсь в среду, 23-го сего месяца. Это уже окончательно. В «Руле» уже появилось мое объявление. Фамилия моя напечатана так жирно, что я подумал было: извещение о смерти. Если и тебе попадется на глаза комната с пансионом не дороже «доллара» в день (а желательно: 3 марки), то сообщи этому самому господину Н. Я, знаешь, так привык к своему псевдониму, что странно видеть истинное мое название.

Сегодня – мороз и солнце, отчего снег на крышах кажется слоем лиловой гуаши, и в воздухе отчетлив каждый дымок. Мне осталось полторы сцены до конца моей пресловутой трагедии; в Берлине попробую издать. А знаешь, бедный наш Якобсон третьего дня бросился в Шпрей, пожелав, как Садко, дать маленький концерт русалкам. К счастью, его подводный гастроль был прерван доблестным нырком «зеленого», который вытащил за шиворот композитора с партитурой под мышкой. Лукаш мне пишет, что бедняга сильно простужен, но в общем освежен. Так-то.

Я никогда не думал, что буду грезить о Берлине, как о рае... земном (рай небесный, пожалуй, скучноват – и столько там пуха, серафимского, что, говорят, запрещается курить. Иногда, впрочем, сами ангелы курят – в рукав, а когда проходит архангел – папиросу бросают: это и есть падающие звезды). Ты будешь ко мне приходить раз в месяц чай пить. Когда же заработок мой лопнет – амерйкну, с тобою вместе. Только что обе сестрицы мои отправились держать экзамен, – и я сочинил для них «песню о провале», после которой они расплакались. Люблю тебя.

Перечел я за эти дни всего Флобера. Прочти – или перечти – «Madame Bovary». Это самый гениальный роман во всемирной литературе, – в смысле совершенной гармонии между содержанием и формой, – и единственная книга, которая, в трех местах, вызывает у меня горячее ощущение под глазами яблоками: *lacrimae arsi* (это не по-латыни).

Мне сегодня почему-то кажется, что мы с тобой скоро будем очень счастливы. «Багряной лентой заката твой стан, как шелком, обовью» (кажется, так) – что, впрочем, не особенно модно, любовь моя.

Сейчас опять засяду за Морна. Боже, как хочется тебе почитать... Неистово и бесконечно люблю тебя, – почерк твой, похожий на твою походку, голос твой – цвета осторожной зари. Целую тебя, глаза твои целую, – и вдоль черной тесемкой... Люблю.

В.

11. 24 января 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

Любовь моя дорогая,

я приезжаю в Берлин в воскресенье, 27-го, в пять часов вечера, на Анхальтерский вокзал.

Задержала меня причина – денежная. К тому же заболела мама, и я сам сильно простудился, переходя Молдаву по тающему льду. Насморк мой легчает, маме тоже лучше, так что *ничего* не может мне помешать уехать в воскресенье. Мне кажется, счастье мое, что ты на меня сердилась, на мою неповоротливость? Но если бы ты знала, сколько мелочей стесняют меня, сколько глупых колючек на каждом шагу... Семья моя вынуждена переехать с этой квартиры на другую – вот тебе снова хлопья хлопот на плечи и унылые разговоры. Одно меня радует: послезавтра застрелится Морн, мне осталось каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят строк, в последней – восьмой – сцене. Конечно, придется еще долго подпиливать и лаковать всю вещь – но главное будет сделано.

Что до пантомимы нашей, то ее облюбовала некая Аста Нильсен – но просит кое-что изменить в первом действии. Другая наша пантомима, «Вода живая», пойдет на днях в «Синей птице».

Я неимоверно устал от своей работы. Мне снятся ночью рифмованные сны и весь день ощущаю привкус бессонницы. Толстая моя черновая тетрадь пойдет к тебе – с посвящением в стихах. Косвенно, какими-то извилистыми путями – подобными истории мидян – эту вещь внушила мне ты; без тебя я бы этак не двинул, говоря языком цветов.

Но я устал. Когда мне было семнадцать лет, я в среднем писал по два стихотворенья в день, из коих каждое отнимало у меня минут двадцать. Качество их было сомнительное, но я лучше писать и не старался, считая, что я творю маленькие чудеса, а при чудесах думать не надобно. Теперь я знаю, что действительно, разум при творчестве – частица отрицательная, а вдохновение – положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного. Теперь, работая по семнадцати часов, я в день могу написать не больше тридцати строк (которых я после не вычеркну), и это одно есть уже шаг вперед. Я помню себя туманным и взволнованным, в нашем грибном березняке, подбирающим случайные слова, чтобы выразить случайную мысль. Были у меня слова любимые, как, например, «блики», «прозрачный», и странная склонность рифмовать «лучи» и «цветы», хотя в женских рифмах я был очень щепетилен. Впоследствии – и поныне – у меня бывали настоящие филологические романы, когда в продолжение месяца – и даже больше – я носился с одним определенным словом, нежно облюбовав его. Так, недавно у меня была маленькая история со словом «ураган», – может быть, заметила...

Обо всем этом я рассказывать могу только тебе. Я все тверже убеждаюсь в том, что the only thing that matters в жизни, есть искусство. Я готов испытать китайскую пытку за находку единого эпитета, – и в науке, в религии меня волнует и занимает только краска, только человек в бачках и в цилиндре, опускающий – за веревку – трубу первого смешного паровоза, проходящего под мостом и влачащего за собой вагончики полных дамских восклицаний, движенья маленьких цветных зонтиков, шелеста и скрипа кринолин; или же – в области религии – тени и красные отблески, скользющие по напряженному лбу, по жилистым, дрожащим рукам Петра, греющегося у костра на холодной заре, когда кричат то далеко, то близко вторые петухи, – и проходит ветерок, сдержанно кланяются кипарисы...

Сегодня я рассматривал громадный коленкоровый план (который с другими бумагами, к счастью, остался у меня) моего имени и мысленно гулял по тропинкам; и сейчас у меня такое чувство, словно и вправду я только что побывал у себя. Сейчас, должно быть, там сугробы,

ветки в белых рукавчиков⁹⁴ и очень явственные звуки за рекой – кто-то колет дрова... А сегодня в газетах весть о том, что Ленин умер.

Любовь моя, какое счастье снова увидеть тебя, услышать пенье твоих гласных, моя любовь. Приди на вокзал – а то вот что случилось (только не сердись), я не могу вспомнить (ради Бога не сердись!), я не могу вспомнить (обещай, что не будешь сердиться?), не могу вспомнить номер твоего телефона!!! Помню, что была в нем семерка – но дальше?..

И поэтому придется, приехав в Берлин, писать тебе – а как я достану марки на письмо? ведь я боюсь почтамта!!!

В Берлине мы будем с тобой страшно веселиться. Я здесь вел очень скромную жизнь. Бывал только у Крамаржей, да и то редко, а сегодня иду проветриться к Марине Цветаевой. Она совершенно прелестная. (Ах... так?)

До скорого, моя любовь, не сердись на меня. Я знаю, что я очень скучный и неприятный человек, утонувший в литературе... Но я люблю тебя. В.

⁹⁴ Так в рукописи. Возможно, Набоков имел в виду «в белых рукавицах» или «рукавчиках».

12. 13 августа 1924 г.

Прага (?) – Берлин

13 – VII(I) – 24

Моя прелестная, моя любовь, моя жизнь, я ничего не понимаю: как же это тебя нет со мной? Я так бесконечно привык к тебе, что чувствую себя теперь потерянным и пустым: без тебя – души моей. Ты для меня превращаешь жизнь во что-то легкое, изумительное, радужное, – на все наводишь блеск счастья, всегда разного: иногда ты бываешь туманно-розовая, пушистая, иногда – темная, крылатая, и я не знаю, когда я больше люблю глаза твои, – когда они открыты или когда закрыты. Сейчас одиннадцать часов вечера – я стараюсь всеми силами души увидеть тебя через пространство, мысль моя хлопочет о райской визе в Берлин *via* воздух... Милое мое волнение...

Сегодня я ни о чем другом не могу писать, кроме как о тоске моей по тебе. Мне грустно и страшно: глупые мысли бродят – что ты оступишься, прыгая из подземного вагона, что тебя кто-нибудь заденет на улице... Я не знаю, как проживу эту неделю.

Нежность моя, счастье мое, какие слова мне тебе написать? Как странно, что, хотя дело моей жизни – движение пера по бумаге, я не умею тебе сказать сейчас, как люблю, как жажду тебя... Такой трепет – и такой дивный покой: тающие, налитые солнцем облака, – громады счастья. И я плыву с тобой, в тебе, пламенею и сливаюсь, и вся жизнь с тобой – как движения облаков, – воздушные, тихие выпады их и легкость и плавность и райское разнообразие в очертаниях, в оттенках, – любовь моя необъяснимая. И я не могу выразить эти перистые, эти кучевые ощущения.

Когда мы с тобой последний раз были на кладбище, я так пронзительно и ясно почувствовал: ты все знаешь, ты знаешь, что будет после смерти, – знаешь совсем просто и покойно, – как знает птица, что, сорхнув с ветки, она полетит, не упадет... И потому я так счастлив с тобой, хорошая моя, маленькая моя. И вот еще: мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто *так* не любит, как мы.

Что ты сейчас делаешь? Мне почему-то кажется, что ты в кабинете: вот встала, прошла к двери, сдвигаешь створки и замираешь на мгновение, – ждешь, не раздвинутся ли. Я устал, я ужасно устал, спокойной ночи, моя радость. Завтра напишу тебе о всяких будничных вещах. Любовь моя.

В.

13. 17 августа 1924 г.

Добржиховице – Берлин

17 – VII(I) – 24

Я больше чем думаю о тебе, – я живу о тебе, моя любовь, мое счастье... Уже жду от тебя письма, – хотя знаю, оно запоздает, так как мне должны будут переслать его из Праги сюда. Мы живем с мамой в прекрасной гостинице, где настолько все дорого, что приходится обитать в одной комнате – правда, громадной. Из окна просторный и вольный вид: ряды тополей вдоль реки, за нею обработанные поля – зеленые, бирюзовые, бурые квадраты, – а дальше – лесистые холмы, по которым очень хорошо блуждать: пахнет грибом и есть мокрая, дикая малина. Народу мало – все пожилые четы пражан, подобные медленным тихим тумбам. Русских нет – слишком для них дорого, но зато неподалеку, там, где в долине краснеют крыши деревушки, живут Чириковы и Цветаева.

Моя дорогая любовь, моя радость бесценная, не забыла ли ты меня? Всю дорогу я ел твои сандвичи и сливы да персики: очень вкусные, моя любовь. Приехал я в Прагу около девяти и довольно долго трясся в черном рыдване до дому. Квартира у моих маленькая, но отличная – только цену на нее набавляют, а средств нет. Кроме того, с пяти часов утра начинается грохочущая процессия ломовиков, фур, грузовиков, так что спросонья кажется, что весь дом медленно катится куда-то, гроыхая и дребезжа.

Оказывается, что Ольге нет смысла ехать в Лайпциг. Если она отсюда уедет, то теряется ее пенсия, да и с пенсией у нее здесь дело налажено: голос у нее необыкновенный, скоро она начнет выступать. Пожалуйста, поблагодари твою двоюродную сестру от моего имени и от имени мамы, – тепло поблагодари.

Я вернусь в Берлин в следующий понедельник или вторник. Хочу набрать побольше уроков, – пособи, если можешь, моя душка. Но, вообще говоря, дела плохи, нечем жить, мама моя очень грустна, нервна, мечтает о том, как бы поехать в Берлин, в Тегель. Я готов был бы камни раскалывать, только бы как-нибудь ей помочь. Те десять долларов, которые я привез, хватят на неделю жизни – очень удобной и спокойной. Только вот дождь бусит сегодня, и приходится на миллиарде кокать.

Солнце мое, трепет мой восхитительный, – вот если бы еще ты была здесь со мной, я был бы совсем счастлив. Тишина здесь, уединение, зелень. В саду тут и там ужасные глиняные аисты и карлики – явно немецкого происхождения. Террасы, фонтанчики. Обедаем и ужинаем на воздухе.

Маленькое поручение: перепиши, пожалуйста (на машинке), стихотворенья «Молитва» (пасхальное) и «Реки». Первое пошли в «Руль», второе тоже в «Руль». Без ошибок, моя радость. Сделаешь? А также напиши мне, появилось ли что-нибудь в «Сегодня».

Надо идти обедать, моя радость. Я люблю тебя. Слышу твой маленький зубной вздох. И шорох твоих ресниц о мою щеку. Счастье ты мое. Если хочешь – позвони Татариновой и скажи, что приезжаю через неделю. И пожалуйста, поклонись от меня твоему отцу.

Целую тебя, моя любовь, глубоко, до обморока, жду письма, люблю тебя, двигаюсь осторожно, чтобы не разбить тебя, звенящую во мне, – так хрустально, так упоительно...

В.

14. 18 августа 1924 г.

Добржиховице – Берлин

18—VIII —24

От тебя еще ничего не получил, моя любовь. Но я полон надежды (с маленькой буквы). Ты нежно закусываешь нижнюю губу, потом говоришь: «Я не люблю, когда ты так шутишь...» Простите, моя радость.

Я люблю тебя сегодня какой-то особенной, широкой, солнечной любовью, пропитанной запахом хвой, – оттого что я день-деньской блуждал по холмам, отыскивал изумительные тропинки, с умилением кланялся знакомым бабочкам... В прогалинах летал цветочный пух, как мягкий редкий снежок, тиликали кузнечики, и золотые паутины – колеса солнца – протягивались через дорожку, липли к лицу. И по деревьям пробегал пышный шум, и вдали по склонам скользили тени облаков. Очень было вольно, и светло, и похоже на мою любовь к тебе. А в Мокропсах (такая есть деревушка) стоял на веранде Чириков, маленький, в русской рубахе. Совершенно бездарный старичок.

Я ложусь в девять часов и в девять встаю. Пью ведрами сырое молоко (тоже моя слабость). Нас с мамой разделяет белый шкаф, поставленный посреди комнаты. Спорим по утрам, кому первому брать tub.

Одно только неприятно: есть тут собачка, мохнатенькая, женского пола, с кроткой мордочкой и с хвостом, загнутым трубой. И вот, только ляжем мы спать, собачка эта начинает под окнами тявкать. Остановится и опять. Сперва мама умилялась, потом стала считать секунды между порывами тявканья, потом пришлось закрыть окно. Собачку мы сегодня встретили в саду: она поглядела на нас умно и ласково. Но страшно подумать, что будет ночью. Это хуже пражских ломовиков.

Как ты поживаешь, мое счастье чудесное? Много ли выучила новых слов по-английски? Играешь ли в шахматы? До тошноты хочется мне, чтобы ты сейчас вошла в комнату, и захлопала бы ресницами, и сделалась бы вдруг мягенькой, как тряпочка... Ноги мои милые...

О, моя радость, когда же мы будем жить вдвоем, – в прелестной местности, с видом на горы, с собачкой, тявкающей под окном? Мне так мало нужно: пузырек с чернилами, да пятно солнца на полу, да ты; но последнее совсем немало, и судьба, Бог, серафимы отлично знают это – и не дают, не дают...

Я нарочно сейчас ничего не пишу, давлю метрические строчки, Бог весть откуда выпрыгивающие, учтиво, но твердо отклоняюсь от увещаний музыки. И только перевожу – с тихой яростью – такие фразы коростовецкие: «современная Европа после, с одной стороны, тяжелых передрыг в сфере достижения политических *par excellence*, но тем не менее обреченных, как таковые, на гибель или в лучшем случае забвенье, благ, а с другой стороны —» И так далее. Чума какая-то.

Ну-с, моя любовь, пора спать, девятый час... Что ты делаешь теперь? Спускаешь, может быть, ставни... Я полюбил их напряженный грохот. Спокойной ночи, мое счастье. Нужно ложиться. Собачка уже начала.

В.

15. 24 августа 1924 г.

Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41

24 – VIII – 24 Прага

Моя любовь, твои письма – до сих пор четыре письма – просто чудные, – они почти-прикосновенья, а это самое большее, что можно сказать о письме. Я обожаю тебя.

Вчера мы вернулись с мамой в Прагу – из деревни, где было все время сыро и солнечно, где по сторонам тропинок, на буковых и дубовых стволах, а иногда просто на камнях нама-леваны цветные полосы в виде флажков, указывающие путь в то или иное село. Я заметил также, что крестьяне надевают на своих першеронов красные наушники и жестоко поступают со своими гусями, которых у них очень много: еще при жизни ощипывают им грудь – так что бедный гусь ходит, словно в декольте. Часто виделся я с семьей Чириковых (у него две прелестные дочки и сын, который ухаживает за моей младшей сестрой), и мы со стариком придумывали сценарии и гадали, как выйдут наши «карточки» в рижской газете. А накануне моего отъезда Дирекция Западных и Восточных Небес угостила нас чудовищно-прекрасным за-катом. Наверху небо было глубоко-голубое – и только на западе стояло громадное облако в виде лилового крыла, раскинувшего оранжевые ребра. Река была розовая, словно в воду капнули портвейна, – и вдоль нее летел экспресс из Праги в Париж. А на самом горизонте, под тем фиолетовым облаком, отороченным оранжевым пухом, полоса неба сияла легкой зеленоватой бирюзой – и в нем таяли огненные островки. Все это напоминало Врубеля, библию, птицу-аль-когност.

Нашла ли ты комнату, милая моя любовь? Не можешь ли ты поселиться просто в моем пансионе – ведь там есть еще комната? Устройся так, чтобы нам было удобно встречаться, – я должен буду тебя видеть сорок восемь часов в сутки, после этой недели безверия (это остроумно?). Я выезжаю в *четверг*, в 9 часов утра – раньше не могу из-за некоторых семейных комбинаций. Ты не сердись на меня, моя любовь, за это запоздание, – не говори «я знала, что так будет...». И если я и в четверг не приеду, можешь считать меня непорядочным человеком и бездарным литератором. Сегодня холодно, моросит, в семь часов утра играл под самыми окнами оркестр цеха мясников – воскресный обычай.

А вчера вечером я читал записки, дневники моего отца и письма его к маме из Крестов, где он просидел три месяца после Выборгского воззвания. Я так живо помню, как он возвра-тился, как во всех деревнях от станции до нашего имения были устроены арки из хвои и цве-тов, и толпы мужиков с хлеб-солью обступали коляску, и как я выбежал на дорогу встречать его – бежал и плакал от волнения. И мама была в большой светлой шляпе, а через неделю она и отец уехали в Италию.

Я тебя скоро увижу, мое счастье. Я не думаю, что будут опять такие расставанья. Весь этот год прошел, как парус, вздутый солнцем, – и теперь ничто не нарушит этой плавности – моего райского скольженья в воздухе счастья... Ты понимаешь каждую мысль мою, и каждый час мой полон твоего присутствия, и весь я – песнь о тебе... Видишь, я говорю с тобой, как царь Соломон.

Но уедем, любовь моя, из Берлина. Это город несчастий и неудач. То, что я встретил тебя именно там, – невероятный промах со стороны неблагоприятной ко мне судьбы. И я с страхом думаю, что придется опять шарахаться с тобой от моих знакомых, и раздражает меня мысль, что случится неминуемое – и добрые мои друзья поднимут хищную болтовню о самом чудесном, божественном, невыразимом, что есть у меня в жизни. Ты понимаешь, моя любовь?

Моя любовь, о, моя любовь, ничего нет страшного, когда ты со мной, – так что напрасно я пишу это, не правда ли? Все будет хорошо, – да, моя жизнь?

В.

16. 19 января 1925 г.

Берлин (?) – Берлин, Луитпольдштрассе, 13

Я люблю тебя. Бесконечно и несказанно. Проснулся ночью и вот пишу это. Моя любовь, мое счастье.

*Я люблю тебя. Бесконечно
и несказанно. Проснулся ночью
и вот пишу это. . Моя
любовь, мое счастье,*

17. Приблизительно март-апрель 1925 г.

Берлин – Берлин, Луитпольдитрассе, 13

Моя милая, милая любовь, моя радость, радуга моя солнечная, я, кажется, съел весь треугольничек сыра, но, правда, я был очень голоден... Но теперь сыт. Сейчас уйду в мягкий свет, в остывающий гул вечера и буду любить тебя и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и еще очень много очень даже много завтра.

Ну вот и все, моя нежность, моя прелесть невыразимая.

Да: забыл тебе сказать, что люблю тебя.

В.

P. S.

Люблю тебя.

18. 14 июня 1925 г.

Я тебя люблю

Я тебя обожаю очень

*Радость моя
Любовь моя дорогая.*

19. 19 августа 1925 г.

Цоппот – Берлин, Нойе Винтерфельдштрассе, 29

Душенька моя, любовь, любовь, любовь моя, – знаешь ли что, – все счастье мира, роскошь, власть и приключения, все обещания религий, все обаяние природы и даже человеческая слава не стоят двух писем твоих. Была ночь ужаса, страшной тоски, когда я представлял себе, что твое недошедшее письмо, застрявшее на неведомом почтамте, – истребляют, как потерянную больную собачонку... А сегодня оно пришло – и вот мне уже кажется, что в ящике, где оно лежало, в мешке, где оно тряслось, все другие чужие письма прониклись от прикосновения его прелестью твоей единственной и что в этот день все немцы получили непонятные изумительные письма – письма, сошедшие с ума, оттого что они трогали твой почерк. Мысль, что ты существуешь, так божественно-счастлива сама по себе, что смешно говорить о житейской грусти разлуки – недельной, десятидневной, не все ли равно? – раз вся жизнь моя принадлежит тебе. Я просыпаюсь ночью, и я знаю, что ты со мной вместе, – чувствую твои милые длинные ноги, шею твою сквозь волосы, ресницы твои дрожащие – и потом во сне преследует меня такое счастье, такое накапливающее упоение, что просто воздуха не хватает... Я люблю тебя, я люблю тебя, не могу больше<,> воображение не заменит тебя – приезжай... Я совсем здоров, *великолепно* чувствую себя, приезжай, и мы будем купаться – волны здесь, как дома. В воскресенье мы собираемся вернуться – а вот эти последние дни я должен прожить с тобой, слышишь? И вот еще, знаешь что: мне кажется, что у нас была одна и та же болезнь. Еще в день накануне отъезда у меня все болело внутри – углами как-то – больно было даже смеяться, – а потом здесь начался жар. Теперь я чувствую себя дивно. Боюсь, что здесь, в гостинице, думали, что я просто запил.

Погода прохладная, но дождя нет, Шура купается мало, пишу сегодня С. А. Право, не знаю, что дальше предпринять. В Баварию, что ли?

Приедешь ли, моя любовь? Выезжай-ка послезавтра (21-го) – два-три дня здесь проведем. Дорога стоит 12 марок, комната 1 ¥ 1 марки (ты ко мне въедешь), обеды и ужины – пустяки.

Кошенька моя, радость моя, как весело я люблю тебя сегодня... Целую тебя – а куда не скажу, слов таких нет.

В.

20. 27 августа 1925 г.

Фрейбург, отель «Рёмишер кайзер» – Констанц

Фрейбург

27 – VIII – 25

Здравствуй, кошенька, любовь моя дорогая, мы отлично доехали, взбирались сегодня на ближний холм, вечером были в кинематографе. Завтра в 9 ч. едем в Dóggingen, будем там в полдень, пообедаем и пешком отправимся в Bol, где переночуем. Оттуда пошлю открытку. Очень весело, Ф. чудесный городок, чем-то похожий на Cambridge. Посередке старый собор цвета сырой земляники, внутри цветные стекла(,) всякие узоры, райские колеса, а также черная ботфорта на золотом фоне, очень милая, по соседству с личиками святых. Люблю тебя, моя собаченька. Стоим в хорошей гостинице. Люблю тебя, моя К.

21. 28 августа 1925 г.

Фрейбург – Констанц

28—VIII—25

Здравствуй, моя душенька, мы сегодня прошли верст 20 (с 1 ч. дня до 8-ми), прошли через Bad-Vol и теперь ждем на станции Reisingen поезда в Titisee, где проведем завтрашний день. Смуглый вечер, над черными елями летает стая воронья, шурша крыльями. Чудная была прогулка, романтические места. Здесь на скамейке у полустанка темновато писать. Воронья стая каркает, слышен дождевой шелковистый шум, когда они пролетают низко и рассыпаются по елям. Очень это красиво. А ходить было местами грязно, так что я радовался, что надел черные башмаки. Только что переобулся. Светит желтая луна, воронье уселось, умолкло. Люблю тебя, мое счастье, подходит наш поезд.

22. 29 августа 1925 г.

Титизее – Констанц

29 – VIII – 25

Здравствуй, собаченька,
пишу тебе с берега Титизе, где сейчас тянем шоколад со льдом. Переночуем и завтра
вползем на Фельдберг. Сегодня чудесно купались, лежали на угреве.
Люблю тебя. Очень.

Здесь мы проезжали⁹⁵.

⁹⁵ Написано на лицевой стороне открытки, где изображен локомотив, пересекающий известный железнодорожный мост Равеннавиадукт через долину Шварцвальда Холленталь. Внизу типографская подпись: «Холленталь-Бад. Шварцвальд. Равеннавиадукт».

23. 30 августа 1925 г.

Фельдберг – Констанц

По дороге сюда, на верхушку Фельдберга, сочинил и про себя повторял маленький стишок: «Не люблю ничевошеньки, кроме одной кошеньки». Погода сыроватая, на проволоках бисер дождя, и меж них кружевные колеса паутин. Вид скрыт туманом. Я люблю тебя.

Здесь переночуем, а завтра двинемся в St. Blasien ⁹⁶.

⁹⁶ Написано на лицевой стороне открытки с изображением пейзажа, под которым стоит типографская подпись: «Цастлерх-ютте».

24. 31 августа 1925 г.

Санкт-Блазиен – Констанц

31 —VIII—25

Шура предлагает назвать эти стихи, что я подумал, гуляя по Шварцвальду и встретив знакомое растение⁹⁷.

Здравствуй, мое солнце,

пришли с Фельдберга в милейший St-Blasien. Завтра идем в Wehr и, вероятно, в пятницу будем в Констанце. Перепиши *точно* эти стихи и пошли их в «Руль» с просьбой («мой муж...») напечатать. Изумительно жаркая погода. Люблю тебя. В.

ВЕРШИНА⁹⁸

Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути?

Чем выше темные, сырые
тропинки выются, тем ясней
приметы, с детства дорогие,
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?

В. Сирин Schwarzwald

⁹⁷ Сначала была написана дата, а две верхние строки письма – вокруг нее; они добавлены уже после того, как был написан текст открытки и стихотворения.

⁹⁸ Написано на другой стороне открытки.

25. 31 августа 1925 г.

Санкт-Блазиен – Констанц, Нойхаузеритрассе, 14, пансион Цейс

31 —VIII —25

St. Blasien

Здравствуй, моя хорошая,

только что отправил тебе (poste restante) открытку со стихами, а зайдя на почту, нашел, мое счастье, открыточку твою. Черные

полусапожки пришлось дать здесь починить, – резиновая подметка отлипла, в серых же я гуляю мало, и они пока что целы. Вообще говоря, путешествие удалось на диво, проходим через упоительные места. Певуч и прелестен на склонах музыкальный ручей коровьих колоколец. Мы истратили до сегодняшней ночи ровно 100 марок (осталось 500). Обожаю тебя.

В.

26. 1 сентября 1925 г.

Тодтмос – Констанц, Нойхаузерштрассе, 14, пансион Цейс

Завтра идем через Wehr в Зекинген на Рейне. Люблю, люблю, люблю тебя.

1 – IX – 25

Здравствуй, моя жизнь.

Можешь проследить путь, нами совершенный сегодня⁹⁹. Сейчас 4 часа. Сидим в тодмосском кафе. День безоблачный, я шел без рубашки, валялся на вересковых скатах. Todtmoos – прелестное местечко, хорошо бреют. В гостинице две русских барышни (!) Л.

⁹⁹ Набоков отметил его на карте Тодтмоса и Санкт-Блазиена, напечатанной на лицевой стороне открытки.

27. 2 сентября 1925 г.

Вер – Констанц, Нойхаузеритрассе, 14, пансион Цейс

2 – IX – 25 Wehr

Здравствуй, моя жизнь дорогая, приезжаем в пятницу, возьми для нас две комнаты в твоём пансионе.

Здесь в Вере нашел от Веры изумительное письмо. Пошлю телеграмму, каким приедем поездом (в пятницу). В твоей тезке не останавливаемся (только выпьем молочка) и идем дальше в Säkingen (всего 30 верст от Todtmoss). Люблю тебя.

28. 2 сентября 1925 г.

*Бад-Зекинген – Констанц, Нойхаузеритрассе, 14, пансион Цейс
2 – IX – 25*

Здравствуй, моя песнь,
мы в Баскп[^]еп, на берегу Рейна, а по той стороне – Швейцария. Завтра идем в Waldshut, а послезавтра утром оттуда приедем в Констанц. Погода прелестная. Полюбуйся очаровательной открыткой.

29. 1925 (?)

Берлин

Я звонил туда, и, к счастью, оказалось, что комната уже сдана, так что нужно найти что-нибудь другое. Я пошел искать. Если вернешься не поздно, пойд и ты побродить.

В.

30. 26 апреля 1926 г.

ИВАН ВЕРНЫХ

1

Электрические фонари освещали косыми углами синий ночной снег, огромные сугробы, подступавшие к дому. Все было странно и немного неискusstвенно светло в этих провалах мерцающего блеска, и черные тени фонарей, ломаясь по сугробам, перерезали легкие мелкие узоры на снегу – тени голых лип. Иван Верных, потопав мягкими валенками в сених и натянув кожаные рукавицы, толкнул стеклянную дверь, которая не сразу поддал(ась) – с морозца – и потом внезапно туго выстрелила в снежный мрак сада. Собака Чернышевых, мохнатая, дряхлая, как и сам старик Чернышев, быстро покатила следом, но теперь ты ушла, и я больше писать не буду, моя радость. Вот ты толкнула стул в спальне, вот обратно вошла, звякнула тарелочкой, зевнула по-собачьему, поскулила, спросила, хочу ли молока. Котишь, моя котишенька.

26 – IV – 26

31. 2 июня 1926 г.

Берлин – Синкт-Блазиен

2 / VI – 26

Кош, мой К-ко-ош,

вот и первый день бестебяшный прожит. Сейчас без четверти девять. Я только что поужинал. Я буду всегда писать в это время. Каждый раз будет другое обращение, – только не знаю, хватит ли маленьких. Пожалуй, придется еще нескольких сотворить. Эпистолярики. О, моя душа, я даже не знаю, где ты сейчас – в St. Blasien'e, или в Тодмосе, или в Готтерчтототакое... Увезли в автомобиле. Я пошел к себе (марочки портье не дал, ибо он куда-то исчез, оставив сундучок посреди комнаты), почитал «Звено», но скоро бросил, так как шнур лампы не дотягивается до дивана (а сегодня я уже просил хозяйку мне это устроить. Обещала – завтра). Около десяти перебрался в постель, покурил, потушил, кто-то жарил на рояле, но скоро перестал. Сейчас встану, чтобы смешать себе питье – воды с сахарком. Нашел. Я думал, он в мешочке. Довольно долго гремел в шкафчике, сидя на корточках. Выпил, поставил все на место. Теперь вошла горничная, делает постель. Ушла. А выспался я хорошо. Утром часов в восемь стало слышно, как гремят школьники вверх по лестнице. В девять мне дали яичко (нужно очень мелко писать, а то весь мой день не поместится на этой странице), и какао, и три булочки, я встал, принял холодный душ и, одеваясь, глядел во двор, где шел урок гимнастики. Учительница хлопала в ладоши, и школьницы – совсем крохотные – бегали и подпрыгивали в такт. Одна, самая маленькая, все отставала, все путалась и тоненько кашляла. Потом (все под шлепки ладош) они пели песню: синее, синее у меня платье, синее – все, что у меня есть. Повторяли они это несколько раз, заменяя «синее» «красным», потом «зеленым» и т. д. Поиграли они еще в кошку-мышку, в другую игру, которой я не понял, с припевами, – потом разобрали свои сумочки, сваленные в уголок, и ушли. Очень хорошо шевелились тени листьев на стене двора. Я почитал («Albertine», потом пошленький советский рассказ) и, не дождавшись человека от портного, пошел (нет, вижу, придется еще листик непременно взять) к Каплану, но оказалось, что татап Каплан ушла к дантисту. В синем костюме и кремовой рубашке с галстучком-бантиком в белую горошинку я поплыл на Regensburgerstr., где, впрочем, никого не оказалось. Но на лестнице повстречал Софу, которая и дала мне твой адрес. Оттуда (ветрено, мутновато-солнечно, под деревьями сетки тени сползают на прохожих, не могут удержать, скользят, не зацепляясь, превращая пальто в движущуюся пятнистую шкуру) пошел в магазин бабочек, получил свою прелестную *Arctia hebe* и поспорил кое о чем с хозяином (он полагал, что *Daphnis nerii* на Сицилии не водится, а я ему сказал, что не только там *nerii* водится, но и *livornica*, и *celerio*, и даже *niseae*. Каких он мне показал чудесных *Aprogia crataegi augusta*!). Я вернулся домой и попросил обед дать мне в комнату. Бульон с вермишелью, мясо тушеное, много овощей, трясучка в сладеньком соку (я ее не ел). Пока я обедал, пришли мои серенькие штанишки: великолепно сделаны. Переоделся дважды – сперва серенькие, потом беленькие – и отправился – к трем – к Шуре. В коридоре встретил хозяйку (нет, это было раньше, до обеда, когда я перетывал моих бабочек, чтобы сделать место для *hebe*, и потом вышел в коридор, услыша голос хозяйки и решив попросить у нее лампочный шнур подлинней), и она сказала мне, что относится ко мне как к сыну – и «если у вас что-нибудь на душе, придите, потолкуем». (Тут же, до обеда, горничная принесла мне книжку с записями фамилий, и я написал – Nabokoff-Sirin.) У Шуры пил чай, говорил с Софьей Ад. о Б. Г. Она считает, что дело очень скверно обстоит. Туберкулез. К счастью, пятнадцатого приезжает сестра Б. Г. После чаю играли с Шурой в теннис. По дороге видели пожарище: сгорел сарай, где был склад каких-то театральных принадлежностей. Очень красиво, среди обугленного мусора алели и синели

куски ковров, тюфяков. Поиграли, я проводил Ш. домой и поехал в свой клуб, где опять лупил (ветрено, клубы пыли, колокольный звон в кирке) до половины восьмого. Вернулся восвояси, ах, забыл опять: когда я уходил к Шуре, то встретил не хозяйку (я помнил, что кого-то встретил!), а человека с другими штанишками – из чистки. Заплатил марку пятнадцать, почитал еще немного советской дряни, а также «Руль», в котором заметка о выступлении моем восьмого. Сохраню. На столе нашел пришедший по почте лоскуток из Финанс. Амта. (Посылаю тебе его. Ответь им, что так и так, я не католик, а православный и чтобы они, мол, меня больше не беспокоили.) Около половины девятого принесли мне ужин (то же самое, что вчера, но только вместо яйца – макароны с тертым сыром). Я поел и сел тебе писать. Вот и весь мой день, моя кош. Сейчас я лягу, – уже четверть одиннадцатого. Долго же я тебе пишу! О, мой милый, о моя душенька, не волнуйся, не скучай... Знаешь, так странно не слышать трамваев и автомобилей, когда лежишь в постели. До свиданья, мой кош, мой косч. Никогда не угадаешь, какой завтра будет маленький в начале письма. В.

32. 3 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

3 / VI – 26

Старичок,

утром получил извещение от полиции, что паспорта наши готовы, – будьте добры явиться и заплатить-де двадцать государственных марок. У меня их нет. Как быть, старичок?

А день нынче выдался серенький, склонный к дождю, и потому я с Ш. не поехал купаться, как собирался. Мы встретились у шарлоттенбургского вокзала (я в новеньких, очень широких, пепельных штанах) и пошли в зоологический сад. Ах, какой там белый павлин! Он стоял, веером распустив хвост, а хвост – словно сияющий иней на звездообразных ветвях или снежинка, увеличенная в миллион раз, и этот чудный хвост, стоящий выпуклым веером – сзади выпуклым, как будто вздутый ветром криолин, – изредка потрескивал всеми своими инистыми спицами. А потом в обезьяньем доме мы видели двух огромных рыжих орангутангов: муж с рыжей бородой, движется медленно, с какой-то патриархальной степенностью, торжественно чешется, торжественно вынимает из ноздри козявку (у него насморк) и звучно обсасывает палец. И такая была добренькая сука с висячими сосками, откормившими двух пухленьких львят, которые, сидя на гузках(, } неподвижно смотрели желтыми своими глазами, как сторож красит перило перед решеткой. И другие удивительные звериные взоры: мать этих львят, старающаяся сквозь решетку своей клетки заглянуть за угол – в ту клетку, где ее дети с их собачьей мамкой, – и отец, задумчиво смотрящий на круп першерона, запряженного в телегу, с которой рабочий сваливает какие-то доски. Я проводил Ш. до угла Вильмерсдорфа-штрассе и, купив по дороге «Observer», вернулся домой, почитал до обеда. Подали мне (в комнату – я так просил) бульон с рисовым пирожком, баранью котлету и яблочный мусс. Затем позвонил Татариновым (буду у них в субботу). Затем переоделся и пошел в клуб. Играл – очень недурно – до шести – и по дороге обратно зашел к Анюте. Там видел всех, посидели в сумерках, я вернулся домой ужинать (яишница, картофель жареный с кусочками мяса, редиски, сыр, колбаса). Поужинав, сел тебе писать (сейчас ровно девять). Ну вот, старичок, прелесть моя, жизнь моя милая. Мне так – соломенно... Но мне здесь очень хорошо, очень уютно. Спокойной ночи, мой старичок. Сейчас буду сочинять стишок, затем лягу – в 10.30. В.

33. 4 июня 1926 г.

Берлин – Синкт-Блазиен

4 / VI – 26

Мысч, мыс-ш-с-ч-щ-с-ш....

утром получил от Штейна открытку: «Мне нужно поговорить с вами относительно перевода „Машеньки“ на немецкий язык. Не будете ли вы любезны позвонить или еще лучше зайти ко мне в „Слово“». Я не мог сделать ни того ни другого, так как спешил к Шуре. (Да, было еще письмо – от мамы. Ее чуть-чуть не вернули с границы благодаря отсутствию немецкой визы! Она очень довольна своей чешской деревней.) С Шурой мы пошли в плавательное заведение на Круммештрассе. Там был человек без руки (отхваченной до самого плеча, так что он был похож на статую Венеры. Все казалось, что у него рука спрятана где-то. Глядя на него, я ощущал какую-то физическую неловкость. Просто гладкое место с каемкой подмышечных волосков), а другой человек – с тончайшей татуировкой по всему телу (у левого соска два зеленых листочка, превращающих сосок в какой-то гаденький розовый цветочек). Мы выкупались, выпили на вилле бутылку сельтерской воды, и я поехал (к часу) на Каплонов урок (с мадам). В два пришел домой (белые штанишки, белая фуфайка, макинтош) и, заперевшись в телефонной будке, позвонил Штейну. Чрезвычайно косноязычно, с мучительным обилием «обли-обли» он сообщил мне, «что в немецких литературных кругах заинтересовались „Облимашенькой“, и также рассказами мелкими и хотят и „Машеньку“, и облирассказы перевестиобли; и что, облиесли я согласен, то меня просят не предпринять никаких шагов на стороне (это в связи с Грэггером) до 20 июня. И пожалуйста, обли доставьте ко мне все ваши рассказы и ждите дальнейших известий, и обли это дело совершенно верное». Почему-то боюсь, что они меня обли-облапошат. Я решил потребовать шестьсот марок, и никаких испанцев, – за «Машеньку», а за книжку рассказов – пятьсот. Поговорю об этом завтра с Евсей Лазарычем (он завтра вечером уезжает в Амстердам, а сегодня на весь день уехал отдохнуть в Ванзей). Как бы то ни было, я очень доволен. И судя по тому, как Штейн волновался и обли-облил, – дело действительно верное. Мой Мысч, люблю тебя. А к обеду мне дали чету битков с морковью и спаржей, неприятный бульонистый суп и тарелочку вполне сладких вишен. Литр молока мне дают с первого же дня. После обеда я сразу пошел опять к Капланам и затем до семи играл в теннис. Погодка весь день была мутненькая, но очень теплая. Каким-то чудом получил вечером «Руль». Вернувшись, почитал его и стал мучительно сочинять стихи о России, о «культуре», об «изгнание». И ничего не вышло. Выплывают какие-то отдельные глуповатые образы: «и уходит / аллея кипарисовая в море...» или «в Богемии есть в буковом лесу / читальня...», и мне делается тошно, оскомина, муть в голове, всплывают старые, давным-давно употребленные сочетанья слов... Мне нужно ухватиться за какое-то виденье, углубиться в него – а сейчас передо мной проносятся только поддельные виденья; раздражают ужасно. За ужином (чета битков – холодных, колбаса, редиски) я вдруг поймал будущую музыку, тон, но еще не размер, обрывок музыкального тумана, – несомненное доказательство, что это стихотворенье я напишу. Люблю тебя, мысч. Шнур удлинили, очень теперь удобно (ах, какой сейчас хлынул дождь... сперва неразборчивый шелест, затем стук капель по чему-то жестяному – подоконнику, кажется, и усиливающийся шум, и где-то во дворе с треском закрылось окно. Теперь расшумелся вовсю... широкий отвесный шум, жестяное туканье, влажная тяжесть...). Забыл написать, что все-таки не совсем сразу пошел к трем часам на урок (шум дождя стал глуше, мягче, ровнее), а успел четверть часа полежать и слышал – с какого-то балкона, – как две девицы разучивают вслух французские предложенья «иль э эвиданг... эвиданг...» (Шум на мгновенье усилился, теперь опять тише... великолепный дождь...) Розы на моем столе еще не увяли, конфеты сегодня кончил

(одна капля упала совсем отдельно, отдельным чистым звуком. Теперь уж не шум, а шелест... И стихает). Сейчас ровно девять, в десять лягу. Хочу еще написать маме. Мысч моя, где ты? Полагаю, что завтра утречком будет письмецо. Знаешь, что мне напомнит вид конверта? Вовсе не поездку в Прагу (сестры с воплем: от Mme Bertrán!!), а того почтальона, который бабым голосом окликал меня с белой дороги, возле которой я работал – под огромным, стопудовым провансальским солнцем: «Ouna lettra por vous, mossieu...» Так-то, мысч. Сегодня уже третий день бестебяшный. Дождь почти совсем смолк, стало прохладнее, нежно звенят посудой на кухне. Спокойной ночи, моя мысч, моя мы-шенька. Мое дорогое. Милое мое... Опять обрывок маленькой музыки. Может быть, сегодня еще сочиню. Мысч моя... В.

34. 5 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

5 / VI – 26

Гусенька,

сейчас вернулся домой (7 часов) и нашел на мраморе умывальника твое письмецо. Гусенька, что же это такое? Немедленно покидай S. B. (не Славу Борисовну, а Sankt-Blasien) и поезжай в теплое место. Поговори с врачом. Узнай, как обстоит дело в Tod(t)moos или Titisee. Бедненькая моя... С тобой ли твоя шуба? Не прислать ли тебе еще что-нибудь тепленькое? Знаешь, когда прошлым августом я был в S-B, там так и парило. Все это очень неприятно. Пожалуйста, не оставайся там, милое мое. Я пока ничего твоим не скажу, подожду следующего твоего письмеца (которое придет завтра). Ознобысч мой... Почему же твой иди-от-доктор посылал тебя именно в горы? Нехорошо все это. Но все устроится, моя гусенька, ты завтра переедешь, да? Сегодня весь день шел дождь, только теперь прояснилось. Утром я пошел узнать насчет часиков, – оказалось, что только на будущей неделе выяснится, сколько это будет стоить. Затем под теплой моросью поплыл к Ладыжникову за советской беллетристикой. Записался – это стоило мне семь марок (пять – залог) – на месяц, – иначе нельзя было. Там мне сказали, что продано свыше ста экземпляров «Машеньки». Я взял идиотические рассказы Зоценки и прочел их до обеда. Обед был сегодня неваженец: суп с какой-то крупой, бежевая толстокожая колбаса и рисовая лепешка. После обеда пошел на урок к Сергею К. и по дороге попал под проливной дождь, – такой дождь, что мои серенькие (старые) штанишки промокли под полый макинтоша и сразу потеряли свежую свою складочку. В пять, после урока, опять зашел к Ладыжникову и променял идиота Зоценку на две другие книжки. Затем посетил регенбургских жителей. Беседовал с Е. Л. (который уезжает только в понедельник), посоветовался с ним насчет этих самых переводов. К семи вернулся, нашел твое письмецо. Совсем маленький день сегодня. Сейчас принесут мне ужин, и потом я пойду к Татариновым (там Mlle Иоффе – приятная фамилия – читает доклад о Фрейде – приятная тема). Костенька, кланяйся, благодари и все такое, – я же в моих письмах тебе не буду об этом писать. Вчера вечером так и не сочинил стишонка, – а день культуры на носу. У меня осталось пять марок. Молоко мне дают в большой закрытой бутылке – очень аппетитно. Ночью здорово шуркали мыши. Радость моя, счастье ты мое, гусенька, мне так неприятно, что тебе холодно и неудобно... Но все должно устроиться, ведь есть же другие места... Ну вот, несут ужин. До завтра, моя любовенька.

В.

35. 6 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

6/VI

Собаченька моя, саба-аченька,

вечор у тартаров был доклад и разговоры о знахаре Фрейде (на диспуте «о современной женщине» Карсавин доказывал, что мужчины бреются и носят широкие штаны благодаря влиянию женщин. Умно?). Айхенвальд получил анонимное письмо после его статьи о Пуришкевиче: «Как вы могли так плюнуть на могилу вашего друга?» Некий журналист Гриф сообщил мне, что послал большую статью обо мне в голландский литературный журнал; жаль, что по-голландски не понимаю. Вообще-то говоря, было скучновато, говорил главным образом Кадиш; разошлись около часу – так что встал я сегодня поздно, около одиннадцати. Пошел погулять – кругом, через Гедехнискирку, на набережную, где смотрел на ветрено-кубистические отраженья каштановых воланов в воде. А на Шилыптрассе видел в антикварной лавке старинную книжечку открытой на первом листе – путешествие какого-то испанца в Бразилию, в 1553 году. И рисунок очаровательный: автор в рыцарских доспехах – кольчуга, бедряные латы, шлем, – все честь честью, едет верхом на ламе, и сзади туземцы, пальмы, змея вокруг ствола. Представляю, как ему было жарко... Я сегодня в новых сизеньких штанах и в норфольском жакете. До обеда читал «Барсуков» Леонова. Немного лучше, чем вся остальная труха, – но все-таки не настоящая литература. К обеду дали бульон с пельменями, жаркое со свежей спаржей и кофе с пирожным. И потом я залег на диван и просидел весь день за книгами – кончил Леонова, прочел «Виренею» Сейфуллиной. Вредная бабища. Ужин был такой же, как вчера, – яишница и холодные мясики. Видишь, какое у меня было тихенькое воскресенье. Я так нынче много наслышался – из книг – мужицкого говору, что, когда вдруг во дворе кто-то крикнул что-то по-немецки, я удивился – откуда вдруг немец? Сейчас половина девятого; погода я выйду пройтись, опущу письмо, и потом сразу спатушки. Радость моя дорогая, где ты? Зябнешь ли все? Собаченька моя... Пора лампочку зажечь. Так. Я думал, что сегодня утром будет письмецо... Зато уж завтра непременно. В Тос1(1:)тоо8 не поезжай – там, оказывается, еще выше. Мне так не терпится, чтобы ты поскорее устроилась. Моя собаченька, моя любовь... Ножки мои милые. Кажется, завтра будет хорошая погода – небо такое нежное.

В.

36. 7 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

7 – VI – 26

Мой обезьянысч,

вчера около девяти я вышел пройтись, чувствуя во всем теле то грозное напряжение, которое является предвестником стихов. Вернувшись к десяти домой, я как бы уполз в себя, пошарил, помучился и вылез ни с чем. Я потушил – и вдруг промелькнул образ: комнатка в тулонской плохенькой гостинице, бархатночерная глубина окна, открытого в ночь, и где-то далеко за темнотой – шипенье моря, словно кто-то медленно втягивает и выпускает воздух сквозь зубы. Одновременно я вспомнил дождь, что недавно вечером так хорошо шелестел во дворе, пока я тебе писал. Я почувствовал, что будут стихи о тихом шуме, – но тут у меня голова затуманилась усталостью, и, чтобы заснуть, я стал думать о теннисе, представлять себе, что играю. Погодя я опять зажег свет, прошлепал в клозетик. Там вода долго хлупает и свистит после того, как потянешь. И вот, вернувшись в постель, под этот тихий шум в трубе – сопровождаемый воспоминанием-ощущением черного окна в Тулоне и недавнего дождя – я сочинил две строфы в прилагаемом стихотворенье, вторую и третью: первая из них выкарабкалась почти сразу, целиком, вторую я теребил дольше, несколько раз оставляя ее, чтобы подровнять уголки или подумать об еще неизвестных, но ощутимых остальных строфах. Сочинив эти вторую и третью, я успокоился и заснул – а утром, когда проснулся, почувствовал, что доволен ими, и сразу принялся сочинять дальше. Когда в половину первого я направился к Каплан (мадам) на урок, то четвертая, шестая и отчасти седьмая были готовы, – и в этом месте я ощутил то удивительно необъяснимое, что, быть может, приятнее всего во время творчества, а именно – точную меру стихотворенья, сколько в нем будет всего строф; я знал теперь – хотя, может быть, за мгновение до того не знал, – что этих строф будет восемь и что в последней будет другое расположение рифм. Я сочинял на улице, и потом за обедом (была печенка с картофельным пюре и компот из слив), и после обеда, до того как поехать к Заку (в три часа). Шел дождь, я рад был, что надел синий костюм, черные башмаки, макинтош, и в трамвае сочинил стихотворенье до конца в такой последовательности: восьмая, пятая, первая. Первую я закончил в ту минуту, как открывал калитку. С Шурой играл в мяч, потом читали Уэльза под страшные раскаты грома: чудная разразилась гроза – словно в согласии с моим освобождением, ибо потом, возвращаясь домой, глядя на сияющие лужи, покупая «Звено» и «Observer» на вокзале Шарлоттенбурга, я чувствовал роскошную легкость. В «Звене» оказалось объявление «Воли России» (посылаю его тебе, а сборник завтра достану). По дороге домой зашел к Анюте, видел Е. Л., он как раз получил письмо от С. Б. Около семи они отправились в какой-то магазин, я пошел домой и по уговору с Анютой выскреб из-под газет и нафталина твою шубку (с таким милым обезьянышем на воротнике...). Завтра Анюта ее упакует, и я тебе ее пришлю. До ужина читал газеты (от мамы получил письмо; им живется тесно, но не плохо), потом ел картофель с кусочками мяса и много швейцарского сыра. Сел писать к тебе около девяти, т. е. потянулся за блокнотом и вдруг заметил письмецо, пришедшее за мое отсутствие и как-то не замеченное мной. Милое мое. Какое обезьянышное письмецо... Кажется, не столько воздух, сколько «семейные дела» гонят тебя из Б. В.? Анюта говорит – и я думаю, что она права, – что горный воздух часто действует так сначала, но потом, через два-три дня, привыкаешь – и становится очень хорошо. Нет, обезьяныш, не возвращайся – будешь сунут в самый старенький, самый гаденький чемоданчик и отослан обратно. Католикам завтра pošлю твой выговор, – спасибо, обезьянысч. Я оставляю спинку этого листа – белой, – спать хочу. Без меня человек

принес папирос. Я взял у Анюты 30 марок и завтра столько же получу от Капланов. Люблю тебя, обезьяныч. В.

ТИХИЙ ШУМ¹⁰⁰

Когда в приморском городке
среди ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,
и вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире —
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум — в часы ночей
иное слышно мне гуденье, —
шум тихий родины моей,
ее дыхание и биенье.

В нем все оттенки голосов,
мне милых, прерванных так скоро,
и пенье пушкинских стихов,
и шепот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнанием,
но этот шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.

Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.

В. Сирин

¹⁰⁰ Написано на отдельном листе.

37. 8–9 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

8 / VI – 26

Радость,

раньше чем описывать тебе сегодняшний необыкновенный, оглушительный успех (о котором, вероятно, будет намек в газетах), должен тебе, как полагается, рассказать мой день. Утром покатил к Заку, под дождем играл с ним в мяч. По дороге домой зашел в «Москву», но там последнего номера «Воли России» не оказалось. Под дождем вернулся восвояси. К обеду была белая безвкусная рыба и черешни. (Нет, ты прямо не можешь представить себе, какой успех!) Затем – все под дождем – понес твою шубку к Анюте (тщательно завернув ее, – не Анюту, а шубку). У Анюты нашел симпатичное Ленино мыльце, за которое очень, очень благодарю. Метнулся к Капланам (это, знаешь, первый раз такой успех. Я страстно жалел, что тебя не было, радость моя) и в пять уже был дома – с двумя новыми книжками, взятыми по дороге у «Ладыжникова». Почитал, повторил несколько раз вслух стишок, переделался в смокинг, поужинал (мясики, вайсекэзишко) и, трахнув коньячку, отправился к восьми часам на Бельвюштр., 3, где должно было произойти торжество. Народу уже было много, поговорил с Айхенвальдом, с Сергеем Горным, с неожиданным Кардаковым. Кардаков мне удивительно рассказывал отношение крестьян к нему, энтомологу, работающему в Уссурийском краю. Это отношение было скверное (чуть не дошло до убийства) по двум причинам. Во-первых: он просил мальчишек доставлять ему жуков, платил за штуку 2 копейки. Мужики стали говорить, что вот, мол, «доктор» покупает жука за грош, а продает за тысячу рублей. Однажды он посоветовал ребятам поискать для него одного редкого сибирского жука среди сложенных дров. Ребята жуков нашли, но поленья здорово пораскидали – и мужики решили Кардакова прикончить. Во-вторых: все они считали (я теперь понял, что значит «гром аплодисментов»). Это была настоящая овация), что Кардаков – доктор, и к нему валом валили больные да беременные бабы. Он старался объяснить им, что лечить не умеет, но они были уверены, что он это нарочно, из злобы, из гордости. Наконец не выдержал и перебрался в другие места. Затем подскочил ко мне Лясковский – не человек, а крючок (а должен тебе сказать, что утром он ко мне написал – прося быть ровно в восемь и добавляя, что билета, мол, вам не нужно – у вас место в президиуме), и этак небрежно, не глядя на меня, заметил: «Знаете что, Вл. Вл., вы лучше сядьте в первый ряд, – вот у меня как раз билет. Вот, пожалуйста». Звонок, все расселись. Когда разместился президиум (Ясинский, Зайцев, проф., Айхенвальд, Татаринов и т. д.), оказалось, что одно место пустует, – но, несмотря на просящий шепот Ясинского и Айхенвальда, я отказался его занять. А Лясковский сидел у краешка стола и избегал со мной встретиться взглядом. Удивительная личность. Началось. Ильин сказал недурную речь после вступительного слова Ясинского, и затем какие-то юноши разыграли «Юбилей» Чехова. Последовал антракт, – наконец звонок, и Лясковский на лету бросает: «Вы, Вл. Вл., там скажите, чтобы кто-нибудь вас объявил, – а то, пожалуй, сейчас начнет Офросимовская группа». Тут я наконец рассердился и сказал ему буквально: «Нет уж, батенька, это уж вы устройте. А я здесь посижу в артистической». Он блеснул пенсне и покорно побежал. Из-за занавеса я слышал, как в полной тишине Ясинский назвал меня. И сразу обрушились рукоплескания. Я раздвинул занавес и вышел на передок сцены. И когда я кончил читать (а прочел я без запинки и, кажется, достаточно громко), весь огромный зал, набитый битком, так захлопал, так зашумел, что даже приятно стало. Я трижды выходил. Грохот все не умолкал. За кулисами пронесся Лясковский и сухенько бормотнул: «Отчего такой шум? Неужели это вам?» Несколько людей меня снова

вытолкнули на сцену – и зала не хотела смолкать, орала «бис», и «браво», и «Сирин». Тогда я повторил опять мое стихотворенье и прочел его еще лучше – и опять грянуло. Когда я вышел в залу, ко мне бросились всякие люди, стали трясти руку, Гессен с размаху лобызнул меня в лоб, вырвал мой листок, чтобы стишок напечатать в «Руле». И потом, после одного действия из «Не все коту масленица», опять все меня поздравляли, и я ужасно жалел, радость, что тебя не было. Где-то вдали сидел бледненький Шура с отцом, были и Капланы, и всякие девы, и та глухая дама, которая помогала тебе переводить словарь. Я вернулся домой к двум, сел тебе писать, – но не кончил и продолжаю сегодня. Погода лучше, но ветрено. Получил письма от мамы и от Панченко. Сейчас пойду к Мамап Каплан на урок. О, моя радость, моя любовенька, как ты поживаешь, что делаешь, помнишь ли меня? Я тебя очень люблю сегодня. А вчера вечером, когда шел по Потсдамерштр., вдруг почувствовал так тепло, что ты существуешь – и какая ты радость. Подумай, если хорошую сумму получу за перевод «Машеньки», мы еще покатаем с тобой в Пиринеи. Хозяйке я вчера заплатил (когда вернулся от К.). Вышло всего 55 м. 20 пф. (52 + за молоко). Милое мое, счастье мое, милое, милое... Ты не думай, я и вечером сегодня тебе напишу. Ну вот, моя душенька (какая душенька...), надо мне идти, да и второй листочек очень кстати кончился. В.

38. 9 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

9 – VI – 26

Тюфка,

написав к тебе – а также и маме, – я опустил письма в синий ящик на улице Зимних полей и на почте начертил открытку Каминке, который вчера просил меня дать ему мамин адрес. Затем поплыл к Капланше и в сотый раз ей объяснял, что «Joan» – не какой-то господин «Иван», а девушка ЖоаННа. Затем вернулся домой и поел: курицу с рисом и ревеневый компотик. Затем читал Гладкова «Цемент», из которого должен выписать для тебя следующие фразы: «Она не гасила усмешки, и усмешка отражалась от стены опять на лицо, и лицо огнилось мутным накалом между черными пятнами во впадинах глаз. Тогда Глеб налил кровью кулаки и заскрипел зубами. Оправился и раздавил сердце. Сам усмехнулся и проглотил со слюною кадык. Но от сердца судорогой рвала мускулы горячая дрожь. Она взмахнула на него белками. Глеб укрощенный, мосластый бравый, со сжатыми челюстями до провала щек, скрипел зубами от занозы в мозгу». Как тебе нравится, тюфка, этот перл? Читал и делал свои заметки до ужина. Пришел «Руль», посылаю тебе небезынтересную вырезку. Ужин состоял из яичницы и мясиков. Сейчас половина девятого. Я еще хочу выйти пройтись до сна.

Тюфка, по-моему, ты пишешь ко мне слишком часто! Целых два письма за это время. Не много ли? Я небось пишу ежедневно. Сегодня за стеной был какой-то тихий, но проникновенный скандал – к сожалению, на немецком диалекте. «В изумление Жук выпучил глаза, и лицо его ахнуло и раскололось на черепочки. Парализованный инженер Клейст стоял, прямо опираясь на парапет спиною, и голова его подбрасывала шляпу редкими срывными толчками». Мне думается, что инженер Клейст... был бы хорошим форвардом.

Да, тюфенька, нехорошо... Я, например, сегодня на письмецо очень даже рассчитывал. Маленькие убывают (кстати, Лалоди нет в списке на первом листе «Машеньки». Он очень обижен), прямо не знаю, что делать, сегодня письмо прошло под знаком Тюфки – а завтра? Я нынче в новеньких штанах.

В.

39. 10 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

10/VI —26

Тушкан,

утром, вместе с постоломом, принесли мне третье твое письмецо. О, тушкан...

Погодка была ничего утром: мутненько, но тепло, небо прокипяченное, в пленках – но ежели их раздвинуть ложечкой, то совсем хорошее солнце, и следственно, я надел белые штанишки. К одиннадцати поехал к Заку, играл с ним в мяч. Потом пенки сгустились – и закапало. Когда я вернулся домой, шел проливной дождь, который продолжался весь день. Во дворе у меня образовалась большая лужа, и по ней расходились концентрические кольца – одни поменьше, другие побольше, – быстро-быстро, так что в глазах рябило, – и уж вместо кругов приливали, приливали тонкие, неисчислимые, волнообразные линии, – и нужно было как-то переключить зренье, чтобы опять увидеть круги под каплями дождя. Я так больше и не выходил весь день. Обед был недурной – баранья котлета и компот из кружовника. После обеда читал Федина, потом решился разобрать ману-скриптики. Мне ведь нужно приготовить для Штейна – он давно уж просил – все мои рассказы, – а тут оказалось, что «Драки» нет. Кроме того, ведь нужно все это переписать на машинке (пока только «Благость» и «Порт» в приличном виде), – так что я не знаю, как быть. Потом опять читал, потом разложил доску шахматную, стал придумывать задачку, но вскоре бросил. Принесли «Руль» и ужин (не знаю, почему такой галдеж сегодня в районе кухни. Хозяйшка, вероятно, не в духах). В «Руле» отвратно написанная рецензия о вечере («В. Сирин прочел свое последнее стихотворенье о родине [словно я больше уж не буду писать!], вчера помещенное в „Руле“, „Тихий шум“, талантливое, особенно задушевное в передаче конкретной обстановки, как повода [?!] к основным, глубинным переживаниям»). Ужин состоял из яйца и обычных мясов. «Руль» я сохранию для тебя, а ужин съел. А доклад – в субботу, и думается, что он выйдет недурно. (Куда это я спички дел? У вещей есть какой-то инстинкт самосохранения. Если кинешь мяч в огромной комнате, где никакой мебели нет, кроме одного кресла – ничего-ничего, кроме него, – то мяч непременно под него закатится. А спички я нашел. Они были в пепельнице.) Ты знаешь, я уже около недели не играл в теннис – благодаря дождю... Тюфенька, я сегодня решил поцеловать тебя в конце письма. Подожди, не двигайся. Нет, подожди. Тюфенька ты моя... О, моя любовь, мое милое, мое дорогое. А в Тодтмос мы ходили из St. Blasien'a пешком. Была жарница, и я снял рубашку. Тюфенька... Тушканыч мой баснословный... Почитаю и лягу. В.

40. 11–12 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

11 /VI—26

Комочек,

утречком, не торопясь, отправился к Ладыжникову, отдал книжки, получил обратно залог и поплыл в «Москву», где зря истратил две марки на «Волю России». Госпожа Мельникова-Папоушек (ей папа ушек не драл) пишет, что «Машенька» не роман, что я подражаю Прусту, что некоторые описанья «миниатюрны», что есть длинноты, которых, мол, у Пруста нет, что вообще задумано не скверно, но выполнено слабо, – что она, мадам Мельникова-Папоушек, не понимает тех критиков, которые увидели в «Машеньке» символ России. Вообще, рецензия дамская и неблагосклонная. Вернувшись домой, сел писать доклад и писал не переставая весь день (Капланы отменили урок) до половины второго утра. Вперемежку с докладом писал рассказик под теперешний советский стиль. Если хватит нахальства, я его сегодня у Татариновых прочту, выдав его за русское изделие. А доклад занял двадцать восемь больших страниц (не этих, а тех других листов, которые ты, Комочек, мне оставил в наследство) и вышел, кажется, недурно. Издеваюсь и терзаю. Пришлю тебе его, как только кончу читать.

Комочек, не удивляйся, что я пишу «сегодня у Татариновых». Дело в том, что вечером 11-го я не мог из-за усталости тебе написать, – и хотя начало письма так звучит, как будто пишу я 11-го вечером, на самом деле сейчас утро 12 июля¹⁰¹, я только что встал и в неубранной моей комнатухе сел тебе писать. Обед вчера состоял из телячьей котлеты и банана в компании черешен. К ужину подарили яишницу и мясики. Вчера дождало, сегодня солнечно, но свежо, и ветер пушит яркую кривую акацию у дворовой стены. Доклад мой называется так: «Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытка установить причины оногo». Завтра пришлю, прочтешь.

Под моим письменным столом целый остров пеплу. Стучится горничная, хочет убирать. Сейчас я выйду купить марок, нехорошо, что ты мне так редко пишешь, и бритву-жилетт. У меня для тебя есть две программы кисти Голубева-Багрянороднова, относящиеся ко дню моего торжества. Книжки Бунину и дяде Косте я еще не послал, Панченко и полицей-президиум ждут, и не собрался я еще сообщить мой адрес «Рулю», хотя непонятным чудом получаю газету каждый вечер. Ждет и Штейн моих рассказов. Не удосужился я Б. Г. позвонить. Все это очень нехорошо. Мой комочек, как ты в общем поживаешь? Как поживают шерстки? В моей акации есть что-то птичье, попугайное. До вечера, мой комочек, – вечером беспрерывно тебе напишу. А доклад в девять часов, у Татариновых. Радость моя... В.

¹⁰¹ Так в рукописи.

41. 12 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

12/VI —26

Катюша,

кончив письмо к тебе, вышел его опустить, зашел в часовой магазин (оказалось, что до сих пор еще не могут мне сказать стоимость починки!), затем купил бритву, затем приобрел за две марки коллекцию марок – десять по десять и пять по двадцать, – а также на лотке две английские книжки за полтинник – Squire, «Steps to Parnassus» (литературные пародии) и знаменитого Henry James, «The Outcry» (роман). Вернулся домой (а погода потеплела, ия – в новеньких штанах) и пообедал (тушеное мясо и яблочный плевок). Пообедав, стал просматривать свой доклад – и тут позвонила Софа, что, мол, Е. И. приехала. По дороге к Капланам я и зашел на Регенсбург, видел там Е. И. и Е. Л., который вчера вернулся. Особенно много о тебе от Е. И. не узнал. Она необыкновенно неразговорчива. Узнал, во всяком случае, то, что ты переехала в Tod(t)moos, – что очень приветствую. Шубка тебе все-таки посылается. Затем был на уроке у К., тихонько вернулся домой, думал найти от тебя письмецо и, разумеется, ошибся. Я тоже, кажется, перестану тебе писать. До ужина почитал приобретенные книжки, ужинал (макароны и мясики) и около девяти поплыл к Татариновым. Постепенно там собралось большое множество народу (конечно, Айхенвальд, Волховыский, Кадиш, Офросимов и т. д.), и я приступил. Говорил (не читал, только изредка заглядывал – когда приводил выдержки) больше часу. Доклад признали блестящим, но очень злым и несколько «фашистским». Особенно на меня нападал Волховыский. Кончилось все это около часу, я проводил до угла Аугсбургаштр. мадам Фалковскую и тихонько вернулся в свою одинокую комнатку. Сейчас без четверти два, завтра воскресенье, долгие посплю. Доклад посылаю тебе – я, конечно, очень много менял и прибавлял, когда говорил, – это только конспект. Ну вот. Пора спатушки, Катюша. Я тебя больше чем обожаю. Ты мое счастье и жизнь. Когда я думаю о тебе, мне делается так весело и легко, а так как я о тебе думаю всегда, то мне и всегда легко и весело на душе. А сегодня кто-то будет писать рассказик – вернее, придумывать его, пока не придет сон. Радость моя, Катюшенька, маленькая моя музыка, любовь моя. Не правда ли, Тодмоос уютен? Мы там стояли в гостинице «Орла». Спокойной ночи, Катюшенька.

В.

42. 13 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

13 / VI – 26

Тепленький,

с утра дождь, дождь... Хорошенький июнь, нечего сказать... Капает на подоконник, потрескивает, словно отпирает без конца тысячи крохотных шкапчиков, шкатулочек, ларочков, – бессмысленно и деловито, в темноте, во дворе, где по-своему, с послушным, ровным шелестом принимает дождь моя кривая акация. Утром вышел опустить письма, а потом больше не шевелился. Размышлял. Вот хочу написать рассказик. Будет он называться так: «Комнаты». Или даже: «Сдается комната». О комнатах, об этой длиннющей анфиладе комнат, через которую приходится странствовать, о том, что у каждой комнаты свои голоса (замков, окон, дверей, мышей, стон шкапа и скрип кровати), непохожие на голоса другой, о том, что зеркало смотрит на человека, как тихий больной, утративший разум, способность воспринимать, удерживать видимое, – безумным, ясным взглядом, – но том, что мы так незаслуженно оскорбляем вещи своим невниманьем, о том, как трогательны лепные орнаменты потолка, на которые мы никогда не смотрим, которых никогда не замечаем. А ты помнишь, тепленький, чету паутинок, висевшую над моей постелью на Траутенауштр.? Так я раздумывал, потом читал Henry James, попивал молочко. Изредка доносились пансионные звуки. Мелькнуло – в дебрях коридора – пререканье между хозяйкой и ее сыном:

...«А в четыре —»

«Я не понимаю, мама, отчего ты никогда не хочешь выслушать мое мнение —»

«В четыре пойдем в Зоологический, в пять вернемся, в шесть —»

Но в общем, пансион очень тихий, очень приятный. Горничная и сестра до приторности услужливы. Я очень рад, что поселился здесь. А обед был сегодня воскресный: суп с пельменями, хорошо поданное мясо, тарталетка с земляникой и битыми сливками. Зато ужин был как всегда – яйцо, мясики.

Тепленький, и сегодня от тебя не было ничего. Вероятно, дождь помешал.

Сейчас без четверти десять, еще напишу маме, потом лягу. Это ужасно – я, кажется, ничего не смогу ей послать пятнадцатого: от Заков мне следует 120 мар., 30 – Аняте, 60 – квартире и мелочи, 25 – в Тегель, 5 про запас. А паспорта?

Тепленький, мы вас очень любим, очень уважаем. Розы совсем высохли, но еще стоят на столе. В черном зеркальном блеске окна отражается моя пишущая рука и оранжевый тюльпан лампочки. Тепленький... В.

43. 14 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

14/VI —26

Любовь,

только что вернулся из кинематографа и нашел твое грустненькое письмецо. Любовь, переезжай в другое место в среду, – попробуй Титизей, где есть чудное озеро и где горы, по моему, не давят, или попробуй то место, что советовал доктор, – во всяком случае поищи, ведь все дело в том, что тебе неприятно жить в воронке, в долине, а ведь другие места – на склоне, на вершине, на плоскогорье – можно найти. Не надо так падать духом, моя любовь. Я понимаю, что от дурной погоды – тоска, но дурная погода сейчас повсюду, – я тоже сетую на дождь. Неужели ты не можешь найти себе уголок в Шварцвальде (тут я капнул молоком)¹⁰², – собери несколько адресов санаторий – и поезжай. Пойми, моя любовь, мы никто не хотим тебя видеть, пока ты не будешь совершенно здоровенькой и отдохнувшей. Я прошу тебя, моя любовь, ради меня плюнуть на всякую тоску и перебраться в другое место, во второе, в третье – только наконец найти приют. Подумай о том, что я должен испытывать, зная, что тебе нехорошо, – и постарайся устроиться лучше. Любовь моя, маленькая моя, милое мое счастье...

К часу пошел читать о Деве с Мадам К. и по дороге туда встретил моржа и маленького святого Нуки. Я нагнулся, чтобы тронуть его, а он пробежал мимо, не обратив абсолютно никакого внимания. Обедал (рагу, салат, черешни), потом поехал к За-ку. Гулял с ним по дебрям Груневальда: погодка сегодня ведряная, и было чудесно. Затем заехал на Регенсбурга, где обсуждалось твое письмо и где мне дали очень вкусный ужин (овощи в сметане, земляника). Зашел Веревкин – у него сильные головокруженья, и он очень напуган. К девяти я пошел в кинематограф с Сергеем К. и видел новое издание фильма «К силе и красоте», мало отличающееся от первого. Теперь пью молоко, ем мне оставленные мясики, смотрю на твое письмецо. Моя душенька, не надо плакать... Вот увидишь, – я уверен, что, если найдешь место, где не чувствуются горы, – все пойдет хорошо. Вот еще насчет вещей: я держу марки, которые наклеиваю на письма в Todtmoos, в том складном алюминиевом стаканчике, из которого я пил у ручья, по дороге в Todtmoos... Нежное совпадение. Любовь моя, что мне сделать, чтобы тебе было хорошо?

В.

¹⁰² Слово «Шварцвальде» частично расплылось.

44. 15 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

15/VI —26

Воробышко,

нынче лил дождь, не переставая ни на одно мгновение, – ужас, – и сейчас льет. Я хотел поехать к Заку на мотоцикле, но шофер отказался ехать – слишком скользко от дождя. Целый ряд мотоциклов, а шоферов не видать. Мне указал прохожий на кабак. Там они все сидели и пили кофе с молоком, в больших чашках. Пришлось покатить трамвайчиком – и когда я пришел к Заку, перед макинтоша был сырого, шоколадного цвета. Гимнастику делали, читали. Вернулся домой и нашел письмо от мамы, пересылающей мне письмо от Bobby de Calry (очень милое, собирается, кажется, нас пригласить к себе) и письмо – к ней – от Сергея. Не могу удержаться, чтобы не переписать его: «...я не сразу

ответил на твое письмо. Не мог писать, потому что в душе была страшная буря. Я хочу сегодня объяснить тебе, в чем дело. Нужно, чтоб ты поняла всю важность того решения, к которому я пришел, к которому я не мог не прийти. Ты знаешь, что вся моя жизнь за последние десять лет была ужасной жизнью, жизнью не только грешной, но и преступной к самому себе. Я никогда не прибегал к той силе, которая помогает и направляет на иные пути. Ты знаешь, что мы не были воспитаны в *православном* духе. Для меня православие никогда не было и не могло быть помощью. Но, как всегда бывает в жизни, наступила минута, когда я почувствовал толчок *извне*. Я оказался перед мертвым и страшным тупиком. С другой стороны, человек, с которым я связал свою жизнь и которого я люблю больше всего в мире, – вернулся к церкви, т. е. получил такой же толчок *извне*. Это были страшные дни. Я перехожу в *католичество* с полным сознанием неминуемости этого шага и с совершенной верой в его необходимость. Да, влияние на меня, конечно, было, но влияние не минутное, не преходящее. Скорее, помощь. Влияние бессознательное, исходящее от Бога. Католическая церковь строже, требовательнее православной. Мне нужна сила, руководящая и сдерживающая меня. Вера пришла, Бог подошел ко мне вплотную. На этой неделе состоится церемония, и я прошу думать и молиться обо мне. Я знаю, что это не наносное, а верное, истинное, настоящее. Я буду причащаться *каждый день*, чтобы убить в себе грех, чтобы Бог дал мне силы, бодрость и волю. Я буду жить *один*. Мы не расстанемся в полном смысле этого слова. С ним я все так же вместе, как был. Но жизнь наша в одной комнате несовместима с вхождением в какую бы то ни было церковь. Мне нелегко, мне очень трудно: нельзя одним ударом отрезать громадную часть моего „я“. Эта часть должна перемениться, дать место чему-то новому и не грешному. Если бы можно было в православной церкви причащаться чаще четырех раз в год – я не уходил бы от нее. Пойми, как все это важно, и не укоряй меня: мне самому трудно, но жду небесной благодати»¹⁰³.

Обедал (телячья котлета, компот из черешен), затем поплыл (в шоколадном макинтоше) к Каплану на урок. Придя домой, сел писать письма – к Bobby, к маме (посылаю ей двадцать пять марок), к Панченко (тоже 25) и к Лене. А затем... Кош, какой рассказик! Я облизывался, когда приступил. Называется так: «Нечет» (сказка), – и это о том, как черт (в образе большой пожилой дамы) предложил маленькому служащему устроить ему гарем. Ты скажешь, ветреная Геба, что тема странная, ты, может быть даже, поморщишься, мой воробышко. Но увидишь. Je ne dis que cela...

Ужин был обычный. Сейчас половина десятого, и я в стареньких сереньких штанах.

¹⁰³ Набоков пометил кавычками начало каждой строки цитируемого письма.

Воробышко, как твое настроение? Надеюсь, что уже не в Тотмосе получишь это письмо. Боюсь, что если ты откроешь на второй странице, то подумаешь, что я сошел с ума. Правда, я на всякий случай понаставил кавычек. Я думаю, это, в общем, хорошо для Сергея. Правда, католичество – вера женственная, стрельчатая, – сладость расписных окон, страждущая нежность молодых Севастианов... Я лично предпочитаю самого завалящего, лысенького попа – этакому шелестящему аббату с лжеврохновенным, восковым ликом. И когда я подумал о том, какая у меня чудесная, счастливая, «своя» религия... Ну все равно. Вероятно, у Сергея это увлечение, но увлечение глубокое, хорошее, которое очень поможет ему. Ты ж, мой воробышко, не слишком сердись на дождь. Понимаешь, ему нужно идти, он не может удержаться, – это не его вина; ведь падать *вверх* он не умеет. Счастье мое, я из(-за) него почти две недели не играл в теннис (я не сравниваю, конечно). А просто – люблю тебя. В.

45. 16 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

16/VI

Милое мое,

видел во сне, что с кем-то иду по Дворцовой набережной, вода в Неве свинцовая, густо переливается, – и мачты, мачты без конца, большие судна и маленькие, разноцветные полосы на черных трубах, – и я говорю моему спутнику: «Какой большой флот у большевиков!» И он отвечает: «Да, вот мосты пришлось убрать». Потом мы обогнули Зимний дворец, и почему-то он был совсем фиолетовый – и я подумал, что вот нужно отметить для рассказа. Вышли на Дворцовую площадь, – она была вся сжата домами, играли какие-то фантастические огни. И весь мой сон был озарен каким-то грозным светом, какой бывает на батальных картинах.

Около двенадцати вышел (в новеньких штанах, благо солнце), переменял книги в Librairie, заплатил там восемь с полтиной и направился в сквер на Виттенбергплац. Там на скамейке, между старичком и нянькой, читал с полчаса, наслаждаясь прерывистым, но жарким солнцем. К часу пошел объяснять Madame K., что Жоан – женщина, историческое лицо, и, объяснив (до субботы), вернулся домой, пообедал (битки, земляника со сливками). Затем сел писать «Нечет»; около шести зашел на Регенсбургер, но видел только Софу, вернулся, отдал (и записал) белье горничной – и сел опять за рассказик. Уже написано семь страниц (больших), а будет, я думаю, около двадцати.

Меж тем пошел дождь – и он, кажется, помешает мне пойти погулять до сна. А к ужину, кроме мясиков, было три сладеньких пирожка – макаронистые, сверху поджаренные и посыпанные сахаром (и преневкусные). Насчет молока: это другое молоко, подороже, в герметически закрытых бутылках, замечательное, – не киснет. Вот, милое мое, каков был шестнадцатый денек моей соломенности. От тебя ни слуху ни духу. Отчего ты так редко пишешь, милое мое? Я ужасно жалею, что не устроил тебе такой блокнотисч, как ты мне устроила, – с числами. Сейчас без пяти девять. Во дворе резвятся две толстеньких кофейных таксы – сверху, кажется, – просто катятся две колбасы без лапок. Милое мое, не знаю, где ты сейчас (где ты будешь читать это письмо). Я тебя люблю. Мое милое, я тебя люблю. Слышишь?

В.

46. 17 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

17/6 – 26

Комарик,

получил утром твое письмецо. Что же это в самом деле? Комарик, приободрись...

Как только встал, сразу сел писать (нет, пошел опустить письмо к тебе и переменить французскую книжку) и к семи часам кончил рассказ. К обеду была унылая рыба и черешни (о супах я давно перестал писать: не различаю их). Вообще говоря, дают много, постоянно спрашивают, сыт ли я. Я совершенно сыт. На днях пожаловался, что, мол, какао слабое, – с тех пор дают мне прекрасное, темное и сладкое. А рассказик вышел недурной (ах да, что же я сегодня такой забывчивый... Утром почтальон принес мне двенадцать марок – за твои урокишки, – и из них десять я заплатил папироснику, пришедшему пять минут спустя. Очень удачно), довольно длинный – около двадцати страниц, как я и думал. Завтра буду его переписывать. В семь зашел на Регенсбург, всех видел, ужинал там (большевики идут на уступки. Full-size у них нет, но есть другие размеры. Дают от 20 до 25 %. Краем уха слышал. Все здоровы. Л. достал билеты для Е. И. Ее, вероятно, проводят в Штеттин Е. Л. и Анята. Анята была в голубом платье, порвавшемся между лопаткой и подмышкой. Я тайком бросил трупик папиросы под диван, – кажется, никто не заметил). К девяти пошел к Татариновым, – народу там не было, очень мило побеседовали. На днях у них был Айхенвальд, и они его уверили, что старушка София С. ездит на велосипеде. В субботу у них будет вечер... афоризмов. Нужно придумать афоризмы на тему «Страданье и наслаждение». Не пищи, комарик. А вернулся я домой около половины двенадцатого и вот пишу тебе. Погодка сегодня была сносная (только один ливень – между пятью и шестью). Нежный мой комарик, я тебя люблю. Я тебя люблю, комарик мой превосходный. Может быть, устроишься под Heidelberg'ом, – там, говорят, чудесно, а? Вообще, мне не терпится, чтобы ты устроилась поскорее. Милое мое существо... Я не знаю «наслаждение» и «страданье», я только знаю

«счастье» и «счастье», т. е. = «мысль о тебе» и «ты сама». Тут очень волнуются о каких-то князьях и каких-то миллионах. Не знаю точно, в чем дело. Я тебя люблю. Ложусь спать, Комарик. Мне так хочется, чтобы тебе было хорошо. Покойной ночи, моя душа, моя нежность, счастье мое. В.

47. 18 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

18/VI —26

Муренька,

ты мне пишешь безобразно редко. Утром под неизменным дождем (который начинает меня выводить из себя) я потек к Заку, по дороге сочинял стихи, которые вчера перед сном начал и сегодня только что окончил. Посылаю. С Заком делал гимнастику и писал диктовку. Вернулся домой (продолжая сочинять), обедал – причем дали очень твердое мясо, – хозяйка потом прибежала, извинялась (и за то послала прекрасный ужин – большая яичница и ветчина). После обеда пошел давать урок Каплану – переводил с ним Rousseau, – потом вернулся, сочинял до шести и отправился на Регенбургштр. Там была одна Софа. Я сел за стол и записал несколько строф. Через несколько минут пришла Е. И. Мы очень тепло с ней простились – и я поплелся домой, наполовину ошеломленный потугами моей музыки. Ужинал, – и тут потуги разрешились, и я полностью написал стихотворенье. Думаю послать его в «Звено». Мой милый, видишь, какой у меня был нынче маленький день. Я небритый, и когда повожу ладонью по щетине на щеке, то такой звук, как будто тормозит автомобиль. Забыл тебе написать, что когда вчера был на Регенсб., то попросил ножницы и пилочку и тщательно обрезал себе ногти, которые здорово запустил. Предполагаю завтра проделать ту же операцию и относительно ног (но у себя дома). В среду хозяйка уезжает на месяц в Териоки вместе с сыном и дочерью. Муренька, как ты поживаешь? Умешь ли меня, когда увидишь? Маленький Шоу очень вырос, и скоро придется ему покупать игрушки. Тюфка хотела себе сделать бубикопф, но по недоразумению ей гладенько обрили головку (совсем стала похожа на пешку). Остальные маленькие все здоровы.

Милое мое, дорогое, нашла ли ты пристанище? Когда же ты мне напишешь, что тебе хорошо, уютно, легко? Ты ж обо мне, радость моя муренька, не беспокойся: я отлично живу, сытно питаюсь, много читаю и пишу. Очень мне интересно, понравится ли тебе мой стихотвореныш.

Сейчас десять минут десятого, скоро лягу. Дождь перестал, но – судя по луже во дворе – и завтра нельзя будет играть в теннис. Это чрезвычайно скучно. Муренька моя, я сегодня опять решил тебя поцеловать. На бирже за последнее время удивительная тишина. Нет ли в Шварцвальде спроса на какие-нибудь тарелочки? Напиши, муренька. Я не думал, что ты будешь так редко мне писать. Покойной ночи, мур.

В.

Пустяк – название мачты, план – и следом¹⁰⁴
за чайкою взмывает жизнь моя,
и человек на палубе, под пледом,
вдыхающий сиянье, – это я.

Я вижу на открытке глянцевиной
развратную залива синеву,
и белозубый городок со свитой
несметных пальм, и дом, где я живу.

¹⁰⁴ Написано на отдельном листе.

И в тот же миг я с криком покажу вам
себя, себя – но в городе другом:
как попугай пощелкивает клювом,
так теребу с открытками альбом.

Вот это – я и призрак чемодана,
вот это – я, по улице сырой
идуший в вас, как будто бы с экрана,
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда,
и сколько стран, еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле путешественник из рая
описывает, руки заломив,
дымок из трубки с присвистом вбирая,
свою любовь, тропический залив.

В. Сирин 18 – VI—26

48. 19 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

19 / VI – 26

Козлик,

утром начал переписывать «Нечет», затем давал урок С. К. Вернувшись, обедал (телячья котлета, компот) и продолжал переписывать. Кончил около семи и затем – для тартаровского вечера – сделал список всего того, что вызывает во мне страдание, – начиная от прикосновения к атласу и кончая невозможностью присвоить, проглотить все прекрасное в мире. Вышло около двух страниц мелким почерком – и, Козлик мой, прости! – я куда-то этот лист запропастил, а то бы послал тебе. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок и к девяти с рассказом, стихотворением и списком страданий поплыл к Mlle Иоффе. Там были: Татариновы, Фальковская, Данечка, Русина, Кадиш с женой, Троцкий с женой, Гриф, отвратительный Звездич, Айхенвальд. Я им прочел рассказ. Совершенно оглушительный успех. Недолго думая, прочел стихотворение. Заставили прочесть три раза. Обсуждали около часу. Звездич и Айхенвальд чуть не подрались. Затем Татаринова собрала все написанные афоризмы о «страдании и наслаждении» (а написали Айхенвальд, Татаринова, Иоффе, Фальковская, Гриф) и прочла их. Было одно недурное: «Один в наслаждении – не воин». Наконец, прочла мой списочек – и опять взрыв непонятного восторга. Вообще, весь вечер обратился в чествование пишущего эти строки – и он, чтобы, так сказать, поставить достойную точку, венец над вечером, выйдя на улицу (Пассауштрассе), когда все между собой прощались, тут же на панели перекувырнулся через голову.

Когда же я вернулся восвояси, то попал, как кур во щи, на grand gala в хозяйской столовой. Совершенно пьяное общество, состоящее из каких-то немецких артистов (друзей сына), служащих американского консульства (друзей дочери) и какого-то Профессор Полетика (должны были быть также Коростовцы, но не пришли). Я выпил водки, бокал крешона, съел бутерброд, протанцевал один тур фокстрота с хозяйской дочкой (очень непривлекательной дамой) и незаметно стушевался. Сейчас около двух, и вот, Козлик, пишу тебе. Козлик мой, мне так больно, что не ты первая слышала мой рассказ и что вообще этот вечер был без тебя... Рассказик я в понедельник передам в «Руль», там переписут его на машинке, и я сразу пошлю тебе манускриптик. «Говорят, что страдание – хорошая школа. Да, это так. Но счастье – лучший университет». Хорошо? Это написал Пушкин. А вот эмигрантски-политический афоризм: «Нули поняли, что для того, чтобы стать чем-нибудь, они должны становиться по правую сторону». А знаешь, как в немецком переводе чеховского рассказа передано «я иду по ковру, ты идешь, пока врешь»? «Teppich, tepst du». Козлик мой, счастье мое, – где ты? Я тебя так сейчас люблю, мое милое... Ложусь спать, немножко устал. Аккуратненько все кладу в шкаф, ничего по комнате не валяется. Бесконечно люблю тебя.

В.

49. 20 июня 1926 г.

Берлин – Тодтмос

20/VI —26

Жизнь моя,

весь день шел дождь. Утром написал к маме письмо и отправил в «Звено» стихотворенье. Благодарил за помещение перевода и добавил: «Брат мне пишет из Парижа, что автор рецензии о моей „Машеньке“ думает, что я „обиделся“. Будьте любезны передать ему, что это не так. Меня только удивили фактические неточности в рецензии, дающие неправильное представление о самой фабуле и стиле книги». Коротко и ядовито. Кстати: мне вчера Айхенвальд говорил, что Элкин (поехавший в Париж) ему написал, что Мочульский «раскаивается». Вся эта история довольно глуповатая. Обедал (хорошее мясо, виктория с битыми сливками), после обеда почитал, затем на два часа соснул. Посмотрел в окно и пожалел, что не добавил в письме к «Звену»: «Пенять на критика – то же, что пенять на дождь». Позевал, мысли валандались, ни писать, ни читать не хотелось. Принесли ужин (яйцо и мясики), съел, зажег лампу и вот тебе пишу, жизнь моя. Знаешь, ведь у меня нечего будет рассказать тебе, когда ты приедешь, – все уже до мелочей будет известно тебе по письмам! Зато у тебя накопится – уйма... Жизнь моя милая, я люблю тебя. Лапки твои таксичьи люблю и розовые черточки у глаз. Я получил еще одно посланье от католической церкви. Пускай полежит. Я ни аза в нем не понял. Сейчас без четверти девять, горничная устраивает мою постель. Кончу письмо и выйду – под легкой моросью – пройтись. Папиросок нужно купить – все вышли. Завтра придет человечек. Сегодня я весь день просидел дома, только сбегал перед обедом опустить письма. По утрам, если не хожу к Заку, делаю гимнастику – роскошно стою на голове! – и потом принимаю tub. (В ванную не хожу – ибо там линючий красный коврик, и все становилось ярко-малиновым – пятки, края купальной простыни, пятки носков.) Как моя жизнь поживает? Как потягивается утренний слепыш? Как оно – мое счастье, мое длинное, теплое счастье? Я сегодня в синем костюме – и, конечно, в рябчике, которого я полюбил больше всех jumper'ов и sweater'ов, которые когда-либо у меня были. Между моим соседом (молодым голландским художником) и моей сморщенной хозяйкой эгзистировала странная дружба... Но, повторяю, пансионом я очень доволен – и кормят совсем прилично. К колбасе я привык и иной раз ем ее без отвращения. А ты, жизнь моя, смотри, тоже питайся хорошо... Мы очень любим вас. Очень обожаем. Простите, что так редко вам пишем. Новенькое перо сегодня вставил. Жизнь моя... В.

50. 21 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

21 /VI—26

Скунксик,

утром около половины одиннадцатого поехал в «Руль», отдал Гессену мой рассказ (я еще не знаю, назову ли его просто «Сказка» или «Нечет». Он довольно велик – восемнадцать страниц; вообще, неизвестно, пойдет ли он. Если пойдет, то к среде его отпечатают на машинке и я его прокорректирую. Если же он не пойдет, то пошлю его в «Слово» с таким условием: 30 марок к 1-му числу. Ни копейки меньше и ни на день позже. Отлично?). Вернулся в свой район и, видя, что до урока с Мте Каплан остается целый час, сперва зашел к Берте Гавр, (ей гораздо лучше, по словам Шуры), но никто не открыл мне, и от нечего делать я посидел в открытом кафе на углу Баварской площади и выпил бокал черного пива. Затем давал урок (Сегодня очень тепло, но перепадает дождь. Я в новеньких, сереньких). Обедал (отличная котлета и земляника) и, полежав на диванчике (радость моя, я в той же комнате, – ведь я тебе писал, кажется, что отказался переехать в другую?), отправился к четырем Sackwards. Играл с ним в мяч. На обратном пути (купил «Observer») зашел на Регенсбург. Всех видел, посидел полчаса, забрал белье чистое и вернулся домой ужинать (отличная яичница и мясики). Сегодня в «Руле» статья Коноплина о Таборицком и Шабельском-Борг. Странно читать. Им осталось восемь лет каторги. Нашел письмо твоё дорогое, скунсовое. Я счастлив, что тебе лучше. Оставайся, скунксик, в Святой Блазии. Бабочек нельзя так описывать. Что значит «желтая»? Есть миллион оттенков желтого. Та маленькая, в черных крапинках, должно быть, не просто желтая, а оранжевато-рыжая – вроде мази для желтых сапог. Если это так, то принадлежит она к роду Brenthis или Melithea (дневные бабочки с пестрым, часто перламутровым исподом). Другая же, ты пишешь, белая с желтым кантом? Не знаю. Опиши подробнее, – и вообще, еще отметь нескольких. Вчера я вышел пройтись вечером – и вместе с толпой глядел (на Ноллендорфплац) на удивительную световую рекламу – пробегавшую, как освещенный поезд, ленту слов: новости голосованья и просто новости, – целая световая газета. Изумительно красиво. А сейчас четверть десятого. Выходить сегодня больше не буду. Что мне писать тебе о регенбуржцах? Все здоровы, уютны, сидел сегодня в полутьме с Е. Л., рассказывал ему о вечере у Иоффе, прочел ему стихи, – понравились. Говоря, он вставал, засунув руки в карманы штанов, чуть набок нагнув голову, – медленно шагал через комнату, поворачивался на каблучке, опять шел, чуть опуская голову. Я это все люблю, и мне очень с ним хорошо.

Ну, скунксик, покойной ночи. Никогда не угадаешь (я целую тебя), что именно целую. В.

51. 22 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

22 / VI – 26

Родимышч,

(сегодня маленький выбран некрасивый, – зато очень мохнатенький) утром встретился (пишу таким мелким почерком оттого, что сейчас мелко переписывал стихотворенье и рука еще не отвыкла. Ну-с – увеличиваю) с Заком и – благо погода тускло-солнечная и очень жаркая – отправились (теперь наконец выровнялся – не Зак – почерк) в Груневальд, где великолепно выкупались. Мы лежали на песочке, когда вдруг грянул дождь, гром выломал лиловое кусище неба и по озеру запрыгали серебристые стрелки. Густой дуб нас от дождя охранил. Вернулся я через Rozenek (сегодня я в старом сером костюмше) и вполне густо пообедал (хорошее мясо, компот из черешен). Одновременно продолжал сочинять стихотворенье, которое возникло ночью. Пошел к Капланам (нет, поехал в автомобиле – так как шел оглушительный дождь). По дороге домой (погода к пяти часам стала райской) продолжал сочинять, купил бритвенное лезвие, переменил книжку, приобрел новые подвязки (сегодня старые порвались), а также... симпатичный серый галстук (длинный) и, совсем уж раскутившись, разорился еще на плитку шоколада Nestles с орешками. Придя домой, нашел, родимыш, твое тепленькое, как ты сама, письмо – и очень порадовался, что тебе как будто веселее. Но, мое счастье, не возвращайся первого! Тебе нужно еще поправиться, – помни. Не раньше 20-го возвращайся, родимыш... Затем, лежа на диване (да, заплатил сегодня по счету 52 марки и человеку за папиросы 5), сочинял, разразилась тем временем страшнейшая гроза, и я под раскаты грома стихотворенье кончил. Посылаю тебе его. Посылаю также и мамино к тебе письмо. К ужину были мясики (телятина и ветчина). Сейчас десять часов. Розы, совсем уже погасшие, еще стоят у меня на столе. Интересно, понравится ли тебе стишок... А галстук цвета одного платица, которого не могу вспомнить без рыданий (оно шерстками встречало меня!), едва намечаются более темные ромбы, шелковый. Сегодня шумно в доме: завтра утром уезжает хозяйюшка. Прислуга ликует. Родимыш, здравствуй!.. Люблю тебя. Это хорошо, что ты много снимаешь. Я тоже хотел бы много снять... Радость моя, витьеватыш, сыш, любобыш, любовь моя... На днях, когда я засыпал, меня томили крохотные словесные кошмары, – вот один: «Попап попался папоротник, порт, / где заропортовался Раппопорт». Отделаться не смог. А звучит как-то... ритуально. Ну, счастье мое, пора спать. Что-то я нынче устал. Стихотворенье это пойдет в «Руть». Люблю тебя, жизнь моя. В.

КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей, —
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.

Совершено. Все призвано к участию
в моем существовании, каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук;

и рамы, запирающейся плохо,
удар в ночи – отмщение за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную,
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,
а пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину
и лампу в старом платице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.

В другой войду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна...
Но грустно мне... Чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалею,
не зная, чем обставить новый дом.

В. Сирин 22—VI—26

52. 23 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

23 / VI – 26

Длинная райская птица с драгоценным хвостом, утром я покатил в Груневальд и роскошно там выкупался. Час лежал на песке. (Солнце с пенками – но жаркое.) Оттуда к часу поехал на урок с Mme К. Она очень уговаривает нас с тобой поехать в Биарриц (они туда отправляются 1 июля на пять недель). Она говорит – вполне резонно, – что, во-первых, тех 150 марок в месяц, которые я там буду получать за уроки с ней и с Сергеем, почти достаточно (при низком поведении франка) для существования одной персоны – и что, во-вторых, наравне с дорогими гостиницами там есть совсем, совсем дешевенькие пансионы. Полагаю далее, что Зака (у которого каникулы начинаются 20 июля) можно будет уговорить поехать. Вообще, – единственно, что дорого это путешествие (около ста двадцати марок – для двоих). Если, таким образом, у нас будут 150 (путешествие) + 150 (твой пансион) + 50 (разные расходы) + 150 (обратное путешествие) = 500 марок, то мы можем смело двинуться в путь, скажем, 20-го (я бы заехал за тобой в St. Blasien) и пробыть до того дня, пока деньги не иссякнут. Разумеется, как только Капланы прибудут в Биарриц, они постараются найти для нас дешевенький закуток. Такое путешествие чудесно бы закончило твою поправку. Все дело в том, как достать 500 марок? Можно, конечно, занять. Во всяком случае, моя длинная, райская птица, попроси Лену, чтобы она (если скоро вернется в Париж) похлопотала немножко о визе для нас (я не знаю – может быть, это можно?); я же со своей стороны достану паспорта, поговорю с Ф., – и даже если придется запросить Париж, мы до 20-го успеем. Знаешь, у Татариновых около 500 марок в месяц, из которых они дают 200 матери, – и все-таки они занимают и едут (в Италию). Отчего бы нам тоже? К обеду были битки и ревень. Хозяйка уехала. После обеда почитал, потом пошел играть в теннис, – лупил два часа. Вернулся и опять читал. К ужину были мясики. Сейчас половина девятого. Мое райское, подумай о Биаррице. Мне кажется, что это возможно. Если же я получу деньги за перевод «Машеньки» или если Зак тоже поедет – то, конечно, все само собой устраивается. Посоветуйся письменно с Анютой и Е. Л. Постарайся не смотреть на все это как на миф. Мои купальные штанишки сохнут на подоконнике. Я забыл нынче узнать в «Руле», покупают ли они «Нечет». Завтра до ухода к Заку – позвоню туда. Небо пепельно-голубое, граммофон жарит фокстрот из соседнего окна. Да, хорошо бы в Биарриц... Какое море! И баск, продающий вафли на пляже. Огромные вафлища, как корсеты. Любовь моя, я сегодня наконец чувствовал солнце. Скоро лягу. Еще напишу маме. У меня осталось пятьдесят фенигов. Очень люблю тебя. До свиданья, мое райское, длинное, с ослепительным хвостом и таксичьими лапками. В.

53. 24 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

24/VI

Кустик,

утром встретился с Заком у шарлоттенбургского вокзала. Мы хотели пойти на собачью выставку – но оказалось, что она закрыта. Погуляли в дебрях Вестенда. Вернулся и позвонил в «Руль». Рассказ выйдет в воскресном номере (послезавтра). В субботу утром поеду в «Редакцию», прокорректирую его. Гессен в восторге. Погода облачная, но сухая (утром и днем). Пообедав (печенка и желэ из кружовника – вроде лягушачьей икры), полежал, перечитал «Машеньку» (понравилось) и к четырем пошел играть в теннис. Забыл вчера тебе сказать, что от сильной подачи лопнули пять струн. Сегодня исправлено. Играл хорошо. У павильона гуляла очаровательная борзая с пепельно-голубым (как вчерашнее вечернее небо) крапом на лбу. Она играла с рыжей таксой, – и эти две длинные нежные морды, тыкающиеся друг в дружку, были чудесны. В шесть пошел дождь (он и по сей час льет). По дороге домой переменил в библиотеке книгу: я читаю сразу два романа французских, оба в нескольких томах – по системе Пруста, – но как все мелко и пресно по сравнению с его совершенной художественностью, глубиной, божественным косноязычием... Вернулся домой – открываю дверь – вхожу – гляжу на стол – вижу – письма. Что такое – откуда – от кого? – беру – вскрываю – и вдруг – что-то выпадает! О, милое! Чудный, чудный снимок... Я все гляжу на него, да посмеиваюсь, да приговариваю: «Какой милый зверь... Какой зверь смешной...» И как ножки хорошо стоят. И сзади какие-то кустики. А к ужину, кустик мой, были: яишница с картофелем и шпинатом, два куска ветчины, швейцарский сыр и т. д. До ужина читал *Martin du Gar*. Сейчас половина девятого. Дождь прыщет всюю. Кустик среди кустиков стоит, опершись о коробку из-под папирос, в которой недели две тому назад я принес из энтомологической лавки берлинскую Гебу и чету лапландских *Brenthis borealis* (разновидность *pales* или *aphirape*, – не знаю точно). Кустик, еще не пора выписывать тебя... Повремени, Кустик... А с лыжными снимками ты все же подумай о Биаррице случилась ужасная хорошенько подумай вещь: они от сырости (стоят ведь на туалете у открытого окна) согнулись, не держатся... Я их перевел было бы там дивно на пляже в желтенький портфельчик, куда складываются твои письма. Приехал финляндский президент в гости к латвийскому, и по сему поводу в передовице «Слова» восемь раз на протяжении сорока шести строк повторяется «высокие гости», «наши высокие гости». Вот лижут! Теперь без четверти девять – скоро пора спать. Теперь без десяти. Теперь без пяти. Девять. Спокойной ночи, мой кустик. Юбочка очень хорошая – это какая? I love you, my own darling, my sweetheart, my life... В.

54. 25 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

25 /VI – 26

Моя нежность,

утром поехал с Шурой в Груневальд – благо погода солнечная; там купались, бегали в одних купальных штанишках вокруг озера, блаженствовали на песочке. Прошла какая-то русская старушка и спросила: «Простите, тут не мужской пляж?» (пляж!). Вернулся к обеду (непонятное мясо и тарталетка с земляникой) и поплелся к Капланам. Они обедали еще. Каплан будет сегодня вечером советовать Заку послать сына со мной в Биарриц. Урока не было, так как Сергею рвали сегодня зуб. Пошел на теннис, играл до половины седьмого. На обратном пути переменял книгу и зашел на Регенсбургер. Письма твои получены; Аня говорит: «Я письмом довольна. Я одно только скажу: я письмом довольна». Советовался с Е. Л. насчет поездки в Биарриц: он – против: море тебе не к здоровью. Я думаю, моя нежность, что он прав. И прав он, когда говорит, что тебе нужно остаться в St. Blasien'e до первого августа. Я знаю, как это трудно. Но тебе нужно поправиться... Мне же он советовал поехать все-таки в Б. – но я, право, не знаю. Без тебя мне не хочется. А с другой стороны, я и здесь – без тебя. Какое твое мнение насчет всего этого, моя нежность? А к ужину были, как всегда, мясики, – а кроме того, макароны, – а кроме того – один письмыщ. Нежность моя, какой вкусный закат! Я прочел твое описание – и прямо слюнки потекли. А насчет денег... Я нынче занял у Аняты еще 5 марок, да еще взял денег, чтобы завтра, когда буду в «Руле», продлить абонемент для С. Б. Вчера принесли белье (нет, что я говорю, сегодня), и это стоило 3.85. Отдал еще партию. У Аняты оставил свой белый светер – чтобы локоть заштопали. Сейчас половина десятого. Небо – чистое. Слава Богу. О моя нежность, я все гляжу на снимыщ... Писал ли я тебе, что Кустик мне прислал снимыщ? Очень на него похоже. Покажу, когда приедешь. В «Руле» сегодня сказано, что Дядя Костя получил от Кэмбриджского унив. почетную степень. Получил ли он и что-нибудь другое, например «Машеньку», не знаю. Во всяком случае его экземпляр и бунинский преуятно лежат рядышком в моем ночном столике. Это симпатично? От купанья у меня уже все загорело. Бледны только те места, которые покрываются штанишками, – т. е. верхние части ног и чресла. Некрасиво, но оригинально. А моя нежность тоже загорела? Какой меня встретил загарыщ – в ужасном клетчатом пальтише – на вокзале в Констанце!.. И вот я тебя целую, моя нежность... Целую все, что может быть названо тобой, твоим... Не сучай, моя нежность. Хочешь, буду писать дважды в день? В.

55. 26 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

26 / VI – 26

Кутиш (маленькая помесь между Кутей и Котишей), утром поехал в «Руль», правил корректуру. Гессен пригласил ужинать. (Сегодня вышла первая половина; вторая выйдет в понедельник, и тогда я пришлю тебе, мой кутиш, оба номера. Я продлил абонемент для С. Б. Быть может, на два-три дня будет приостановка присылки. Но я распорядился, чтобы прислали все номера начиная с того дня (вероятно, 23-го), когда «Руль» к вам перестал приходить. Все же на всякий случай пришлю тебе номера со «Сказкой».) В «Руле» же я условился с Людвигой, что в понедельник [когда приду исправлять вторую часть. (Кстати, в первой довольно много опечаток, так как я правил очень бледным карандашом)] занесу книги для Бунина и Дяди К., чтобы она их послала по адресам. Вернулся домой с книжечкой стихов Шаховского (он мне прислал ее в «Руль»), прочел ее: очень недурно, – ясная темнота, прохлада, волнение. Я ему так и написал и сразу письмо отправил (в «Благонамеренный»). Затем переменил надпись (пришлось вырвать страничку) на книжке, предназначенной Дяде К., и вместо идиотической надписи, которая на ней была, написал поздравление с получением почетного звания. Кутиш, я люблю тебя. Затем обедал (мясо довольно хорошее, компот из слив) и к трем поплыл на кап-ланский урок. К пяти вернулся восвояси. Нынче довольно прохладно; я в новеньких сереньких, в норфольке и в новеньком галстухе, и, побрившись, поехал унтергрудом к Гессену. Ужин у них был совсем вкусный. Гессен поблескивал лысиной, золотыми ободками пенсне, много говорил, пощупывал одной рукой воздух. От них поехал в девять часов к Татариновым, где был скучноватый доклад о Пиранделло. Потом я сказал «Комнату» и... ну обычные последствия. Следующий раз Волховыцкий будет читать об эмигрантской литературе. Разошлись поздно, я провожал Айхенвальда, говорили о России. Кутиш, Кутиш, когда мы вернемся? Сейчас четверть третьего, я немножко устал. Забыл написать, что получил очень кутикутиковое письмо. Котиш, я умоляю тебя остаться подольше в St. Blasien... Пойми, что это важнее всего – твое здоровье. Кутиш, нежность, легкость моя, правда, это нужно... Твой отец настаивает на этом – и он совершенно прав. Кутиш, моя радость, раз ты уж там, воспользуйся... Тебе еще нужно пополнить, – ну хотя бы стать такой, как Аня. Хотя бы. Если ты меня любишь – ты все это поймешь. Я же решил никуда не ехать: здесь я все-таки ближе к тебе. А без тебя разъезжать не хочется. Останешься, Кутит? Я же учредил диктатуру: Шоенька и все остальные маленькие не имеют права голоса... Кутиш, «список страданий» пропал. А это, знаешь, двадцать пятый письмыш. Люблю тебя, моя маленькая, мое счастье. Покойной ночи. Кажется, собирается светать. Небо – зеленое. В.

56. 27 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

27 / VI – 26

Мотыленок,

встал поздно, одевался не спеша, долго делал гимнастику. Обедая: телятина и земляника со сливками. Потом вышел пройтись. Разглядывал старинные литографии и книжки в антикварных лавках по Шильштрассе. Думал вот о чем: какая прелесть будет в старинных фотографиях! Скажем так – в 2126 году. Фотография, которой двести лет, – фотография улицы с людьми в пиджаках и с автомобилями («пиджак» будет звучать как «камзол» для нас, а «автомобиль» как, что ли, «пироскаф»). Будут страшно дорогие снимки. Будут коллекции снимков, стоящие миллионы. «Приходите посмотреть мою коллекцию фотографий начала двадцатого столетия?» – «С большим удовольствием». – «Вот смотрите – улица, автомобили, мотоциклы». – «Да, но у господина X есть еще более старый снимок: на нем видна – лошадь!» Сочиняя такие разговорчики, я прошел, мой мотыленок, мимо великолепного фонтана близ прежнего жилища Лукашей и полюбовался мокрыми, лоснистыми спинами каменных тритонов, улыбающихся сквозь блеск и дрожь спадающей воды. На Геркулесовом мосту пожалел бедного льва, у которого реставрированная часть хвоста – бледная, голая, – как у пуделя. Побрел прямо, углубился в аллею тиргартена – где тени то и дело теряли сознание, оттого что скрывалось солнце. Посидев на скамейке, пошел обратно той же дорогой, и на Шильштрассе меня остановила тучная старуха вся в черном и попросила сопроводить ее через улицу. Я взял ее под руку, и медленными шажками мы перешли на ту сторону. Я себя чувствовал как картина «The Boy-Scout or One good deed every day». Вернувшись восвояси, часок почитал – и удивительно играл танцевальную музыку «громкоговоритель» во дворе. Скрипичное томление саксофона, свирельные пируэты, мерный бой струн... И потом я задремал – и когда проснулся, было уже половина восьмого. Небо сейчас бледно-голубое в тающих облачках – как на плафоне с аллегорическим, апофэозным сюжетом. И все играет джаз-банд в радио – обожествленно собачье поскуливание. Ужинал: мясики. И вот пишу к тебе, мой мотыленок... Как твои крылья и сяжки, как поживают все их пятнышки и шелковый их пушок? Я еще выйду погулять сегодня, письмыщ опущу. Мотыленок мой, счастье мое, любовь... Как тебе нравится такое определение: сон, который видит один, это сон; сон, который видят двое, это полу-действительность; сон, который видят все, это действительность. Кстати, у меня есть чудное название для газеты или журнала: «Явь». Хорошо? Мотыленок, как вам посиживается на санблазийских цветочках? Любовь моя... В.

57. 28 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

28/VI

Мой Катышок,

утром мылся, брился, надел новенькие, серые, и синий пиджак – и поехал в «Руль» корректировать вторую часть рассказика. Как он тебе – нравится? По-моему – ничего. Между прочим, оказалось, что улица Гофмана действительно есть (это, конечно, мне Шура открыл), и вовсе не «за Кайзердаммом», а в Трентове. Книги – посланы (большое облегчение). Из «Руля» поехал на урок к Капланам, затем вернулся к себе, обедал: рулад и компот из слив (нехорошо...). К трем отправился на Dernburgstr., играл с ш. в мяч, ел в саду землянику и кружовник, затем – около шести – пошли вместе на Цо, где я купил «Observer». Там подпорхнула ко мне твоя сестрица. Что она там делала, неизвестно. Расстался я с Заком, пешочком пошел домой, мой Катышок, читал газетки. Посылаю тебе вырезку из «Слова»: совершенно прелестные стихи – и форма и содержание совершенно исключительные. Купил также «Звено», – но стихов моих там нет. Зато Адамович здорово выругал госпожу Папоушек. Ужинал: яичница и ветчина. Сейчас пять минут десятого. Катышок, Катышок, райское мое существо, что у тебя слышно? Будешь ли благоразумна и останешься ли еще на двадцать-тридцать писем в St. Blasien'e? Знаешь, мне иногда кажется, что я только теперь понял, *как* я люблю тебя и *как* мы с тобою счастливы... Мой Катышонок. Стихи Пертса сохрани. Такие они – свежие, русские. Пришли мне как-нибудь шифрованное письмо (цифры – вместо букв), мне будет приятно его разгадывать. Вот тебе, например (по старой орфографии):

/22/97331/1517211718717/4/ 1311182617/,
/2117/2023/2711131932/213191720174/12017334/,
/2023/27172732182712032/933261932128163/
/4/611182629/,
/2764123/233267294/1931333728/ – /27331328/
/271333261334/.

Маленькие черточки разделяют буквы, большие – слова. Интересно, угадаешься ли (определенная цифра отвечает всегда той же букве, разумеется). Посмотрим, мой Катышек. Если будешь хорошей(ей) в каждом письме пошлю тебе новую маленькую игру. Ты же еще снимись! Тут большой спрос на этот товарищ. Милое мое, я люблю тебя... Собираюсь рассказик писать. А может быть, стихи. Будет завтра мне письмыш? Сидит ли он сейчас в почтовом вагоне, в тепле, между письмом от госпожи Мюллер к своей кухарке и письмом господина Шварц к своему должнику? Тема для стихотворенья: мы все – письма, идущие к Богу. Или нехорошо? Катыш, маленький мой, так давно не целованный... В.

свою Палатку. Успехи: Овация и восторг. Сейчас
 только минула десятилетие. Катинское, Катинское, райское
 мне событие, это у тебя сейчас? Будет ли
 благодарная и оставшаяся еще на двадцать-тридцать
 писем в St. Blasien? Жалко, мне, конечно,
 кажется, что я только теперь пишу тебе и только
 тебе, и как мне с этого счастлива... Мои Катинские
 стихи Пётра сохрани. Такие они - светлые, русские
 Перши или как-нибудь мирно-важные письмо (целые
 - чистые буквы) или будет письмо со радостным.
 Вот тебе, например (по твоей фотографии):

22	9	2	3	31	15	17	21	19	18	7	17	4	13	11	18	26	19	1				
12	1	17	20	23	27	11	13	19	32	21	3	19	17	20	17	4	1	20	19	33	7	1
20	23	27	17	27	32	18	27	1	20	32	9	33	26	19	3	21	28	16	3	1	1	1
27	6	4	1	23	23	26	7	25	4	19	3	18	33	7	28	1	27	33	13	28	1	1

Маленькие черточки ради новых букв, большие - слова. Интерпретация
 написана на (определённо) чужие ответы всегда также
 (чужие, разумеется). Посмотри, мои Катинские. Там буквы
 короткой в каждом письме, почти тебе новую, или новую
 пишу. Ты же ещё спиши? Тут, Белин, спроси
 на того товарища. Моего мое, я только тебе...
 собираю раскраску писать. А потом, Белин, стихи.
 Будет завтра или послезавтра? Сидит ли она сейчас
 в постели, вали, в темноте, между писем, от
 восторга. Момент к своей палатке и писем, восторга
 восторга к своей палатке? Мне для стихотворения:
 или вот - письма идущие к тебе. Или нехорошо? В
 Катинское, или нехорошо, так давно нехорошо...

58. 29 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

29 / VI – 26

Душа моя,

ты давно не писала. Ты давно не писала. Ты давно не писала. Моя душа...

Утром поехал с Ш. в Груневальд, там купался, бегал. Очень было тепло и хорошо. На обратном пути, переходя то место мостовой на углу Лютер и Клейст, где идет оргия починки, встретил рамолистого проф. Гогеля, который мне сказал: «А вы будете играть Позднышева. Да-да-да...» Думая, что он меня с кем-то спутал, я улыбнулся, поклонился и пошел дальше. Обедал: битки с фаршированными томатами и отличное черничное варенье. Заплатил по счету (54.80 – с молоком). Вдруг входит горничная: «К вам – дама». Входит дама с портфелем. «Меня к вам послал Грэггер. Я продаю папиросы. Муж мой, офицер, был расстрелян в Киеве». Я взял сотню – чувствуя, что страшно изменяю нашему человечку. К трем отправился на урок с Капланом. Около пяти пошел на теннис. По дороге, моя душа, купил марок, послал тебе газеты с рассказом, купил также теннисные башмачки (4.45). Завтра отдам Анюте тридцать марок. Хорошо играл. В половину восьмого вернулся, ел мясики. Нашел письмо от Айхенвальда. Правление Союза журналистов устраивает «Суд над Позднышевым». Меня просят играть Позднышева. Я только что написал Айхенвальду, что согласен. Это будет в конце июля. Comment tu regardes sur ça? Rien à soi? («Ничего себе?»). Душа моя, когда ты ко мне не пишешь, у меня делается маленькая паника. Ты, может быть, сердись на то, что я прошу тебя продолжать толстеть в St. Blasien'e? Все равно – очень прошу. А папиросы эти ничего, – табак, по-моему, лучше майкапарского. У человечка возьму на сотню меньше. Моя душа, я единственный русский эмигрант в Берлине, который пишет к своей жене каждый день. Но маленькой игры тебе сегодня не пошлю – так как ты нехорошая. Сейчас половина десятого. Пойду опустить письма – к Дубняку и к тебе, и лягу спать. Акация у стены, во дворе, по утрам купается в собственной кружевной тени, которая колеблется за нею на стене и сквозь ее листья, мешается с движением листьев: акация в теневом пенуаре. Но сейчас в окне отражается только моя голова в рембрандтовском свете и оранжевая лампа. Я люблю, я люблю тебя, моя душа, мое счастье... Боюсь написать: завтра будет письмо, – так как всякий раз, когда я так пишу, – не бывает. Моя душа, я люблю тебя. Мой полет, мое трепетанье... В.

59. 30 июня 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

30/VI —26

Мой маленький,

сегодня – последний тобою отмеченный лист. Завтра будет месяц, что ты в отъезде.

Утром не спеша мылся, одевался и поплыл на урок с Mme Каплан. В последний раз (до августа) объяснял ей, что St. Joan не Апостол Иоанн, а девушка с бубикопфом и воинственными наклонностями. Затем обедал: рыба и красная смородина. Затем пошел стричься. Посередине парикмахерской на высоченном табурете, закутанная в простыню, спускающуюся почти до пола, сидела совсем маленькая девочка, нагнув золотисто-желтую голову, и вся морщилась, в ужасе закрывала глаза, когда парикмахер ей подравнивал волосы на лбу и затем прыскал в нее из огромного флакона. Сам я вышел оттуда с кругленькой и молоденькой головой – и отправился на теннис. Был нынче в ударе. Припекало солнце. Около семи вернулся домой, переоделся, пошел менять книжку, а потом заглянул на Регенбургер. Там ужинал и составлял с твоим отцом телеграмму к тебе. Около половины десятого поехал унтергрудом на Потсдамерплац (по дороге читал «Руль» и вот посылаю тебе вырезку. Забавно?) и там послал вышеупомянутый телеграфыщ. Домой вернулся пешком и вторично ужинал (мясики – с преобладанием колбаски. Но не следует забыть двух яиц, и овсянки, и земляничного компота, которыми в совершенно неправильном родительском падеже [«неужели электрическая сила частицы „не“ так велика, что может влиять на существительное через два, даже три глагола?» – говаривал Пушкин] угостила меня Анюта), думая о том, что давненько не ел сырка Kohler, и поглядывая на Кустика среди кустиков. Сейчас уже без четверти одиннадцать, – а еще нужно написать маме (и вложить двадцать пять марок: больше не выходит, мой маленький). Напишу еще С. Б. Анюте деньги – отдал.

Маленький мой, потерпи еще немножко... Правда же, тебе нужно поправиться... И нельзя ведь считать те две недели, которые ты испортила всякими переездами. Я знаю, что трудно, мой маленький, – но потерпи. Е. Л. рассказывал, как Пелтенбург, летя на аэроплане из Москвы в Ковно, попал в опасную полосу тумана. Люся: «Ну, я хотел бы знать, ну что он испытывал в эту минуту, ну?» Анюта (отрываясь от спиртовки): «Во всяком случае – больше мужества, чем ты имеешь, вот, слушая рассказ об этом». Люся: «Как? Нет, но все-таки интересно знать...» Твоему отцу моя «Сказка» нравится, но он находит, что я «специализируюсь на клубничке». Правда, этот рассказ немного – фривольный.

Маленький мой, как вы поживаете? Я вас люблю. Небо сейчас звездное и напирает теплый ветер. Розы, теперь уже окаменевшие, еще стоят на моем столе. Целый месяц! Маленький мой, обцеловываю тебя. Письмыщ был сегодня. Что это насчет обезьянки? В.

60. 1 июля 1926 г.

Берлин – Синкт-Блазиен



Горизонтально:
1 За решеткой, но не тигр
2 Кричат
3 Бабочка
4 Толпа
5 Дай забвенья... очаруй...

1 - VII - 26

Вертикально:
1 Блин революции русской
6 Надпись под лысым
7 Одна из забот Лонгфелло
8 Печенье
9 Часть тела
10 Как перст
11 У поэтов – дымится.

Горизонтально:

- 1 За решеткой, но не тигр
- 2 Кричат
- 3 Бабочка
- 4 Толпа
- 5 Дай забвенья... очаруй...

Вертикально

- 1 Блин революции русской
- 6 Надпись под лысым
- 7 Одна из забот Лонгфелло
- 8 Печенье
- 9 Часть тела
- 10 Как перст
- 11 У поэтов – дымится

Кошенька моя,

забыл вчера вложить вырезку. Вот она. Утром встретился на вокзале Шарлоттенбурга с Ш., поехали в Груневальд, но, так как погода очень пасмурная, не купались, а только гуляли по лесу. На обратном пути я вылез из трамвая на Шиллыитр. – ибо на днях отметил упоительного мурмурика, – которого сегодня и купил. Он совсем кругленький, пяточок премилый, – и весь он не больше виноградины. И предозначается он тебе. Только вот как послать его, не знаю, – в письме? Нет, слишком толстенький. Завтра с кем-нибудь посоветуюсь и пошлю. Имей только в виду, что он очень, очень милый.

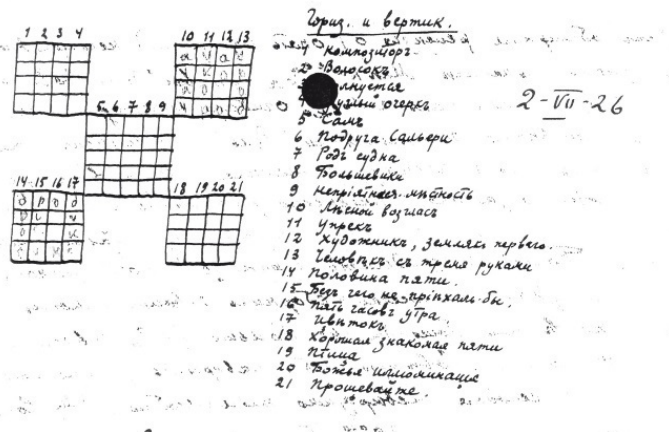
К обеду была телячья котлета, компот из Королев Клавдий и письмо от мамы. Она пишет, что очень тронута всем тем, что ты ей пишешь о Сергее. Что именно ты писала? После обеда полежал, затем переоделся и пошел играть в теннис. По дороге туда встретил Коростовца, а по дороге обратно нагнал господина, который шел и странно жестикулировал, приговаривая что же. Перегнав его, я узнал в нем актера Орлова. Он слегка смутился, затем принялся болтать о всяких пустяках. Рассказал, что на днях его вызвали на частный вечер какие-то люди, прося его прочесть им мою «Сказку», – что он и сделал... На следующей неделе буду играть на состязании. Бертман выиграл хрустальный графин – я ему очень завидую. Ах, Кошенька моя, только что заметил, что конвертов у меня больше нет. Придется завтра утром – до За-ка – купить и в магазине написать адрес. Досадно.

Домой я вернулся около семи, читал идиотический французский роман пошляка Rosny Jeune, затем ел обычные мясики. Да, забыл написать, что (для того чтобы отделаться от Орлова) зашел в пивную, выпил пива, – да еще купил плитку шоколада, которую дома запил молочком. Сейчас четверть десятого. Скоро лягу.

Моя Кошенька, я еще не знаю, как ты приняла телеграфыш. Обещанную маленькую игру – крестословицу (как приятно писать слово, которое сам создал! Ему уже годика два) найдешь выше. Моя Кошенька, пришли мне еще снимочек! Кустику одному – скучно... И описание виденных бабочек. Стихи мои «Комната» Фальковская взяла, чтобы переписать на машинке. Они пойдут, вероятно, в субботу, – я уже предупредил Гессена. Любовь моя, не скучай очень, прибавляй фунтики, по фунтику в день, чтобы к приезду было полпуда. Кошенька моя... В.

61. 2 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен



Гориз. и вертик.

- 1 Композитор
- 2 Волосок
- 3 Волнуется
- 4 Круглый очерк
- 5 Сам
- 6 Подруга Сальери
- 7 Род судна
- 8 Большевики
- 9 Неприятная местность
- 10 Лесной возглас
- 11 Упрек
- 12 Художник, земляк первого
- 13 Человек с тремя руками
- 14 Половина пяти
- 15 Без чего не приехал бы
- 16 Пять часов утра
- 17 Цветок
- 18 Хорошая знакомая пяти
- 19 Птица
- 20 Божья иллюминация
- 21 Прощевайте

My love,

сейчас собачка лает на аэроплан: он где-то басом жужжит – стена мешает видеть, – а собачка стоит на балконе и тявкает в небо.

Утром великолепно купался с Ш. в Груневальде. Солнце огромное, жаркое. Прищуришься на него – и дрожит серебрянный блеск, осколочек радуги. По дороге обратно купил конвертов, чернил (и, как всегда бывает в день покупки чернил, поставил кляксу)¹⁰⁵, отослал

¹⁰⁵ На странице несколько клякс.

письмо. Обедал (да, должен тебе открыть маленькую тайну: до сих пор I had my meals либо на письменном столе, либо – если работал – на ночном столике. И то и другое было чрезвычайно неудобно. Сегодня уехал кто-то из жильцов, и наконец я получил удобный стол для meals. Он стоит у печки) – какое-то мясо и земляника, – потом пошел на теннис. Я так много играл и так было жарко, что промок, как мысч, – и, вернувшись, I took a perfectly delicious cold bath. Затем полежал (звонил Каплан: проститься), продумывая новый рассказик. Это будет обширная рецензия о (опять капнул...) несуществующем «литературном альманахе». Мне кажется, что выйдет довольно забавно (заметила, как я ловко огибаю лужицу?)¹⁰⁶, но совершенно неизвестно, поместит ли «Руль». Ужинал – на новом столе, – ел яичницу и мясики (Тут вот просвечивает словесная задачка; интересно, разгадаешь ли!). Сейчас половина десятого. My love, нынче – тридцатый письмыш! Больше шестидесяти страниц! Почти роман! Если бы мы издали книжечку – сборник твоих и моих писем, – то в ней было бы не больше 20 % твоего труда, my love... Советую тебе наверстать, – еще есть время... Я сегодня невыразимо тебя люблю. My love, в газетах пишут, что 29-го было землетрясение по всей южной Германии, – что во Фрейбурге «шатались дома». Ты что-нибудь чувствовала? Когда я был маленький, я всегда мечтал о громадном наводнении: чтобы на лодочке прокатиться по Морской, свернуть... Торчат из воды фонари, дальше – торчит рука: подплываю, – оказывается, это бронзовая длань Петра! My love, do you miss me frightfully? Когда ты приедешь, я тебя встречу на станции один – или совсем не встречу. В «альманахе» будут стихи некоей Людмилы N., подражающей Ахматовой. Приведу пример:

Только помню холодность вашу
и вечерней звезды алмаз.
Ах, сегодня я не подкрашу
этих злых, заплаканных глаз.

Занятно? А рассказы, а статьи... Но я не хочу наперед говорить. My love, I seal you with six kisses: eyes, mouth... and the others I shan't tell you.

В.

Я КЛЯНЮЮСЬ МУРЕ Я ТОЖЕ КУТЯ

¹⁰⁶ Строки Набокова огибают одно из чернильных пятен.

62. 3 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

3 / VII – 26

Ломота, игумен, тетка, Коля, Марон
версификатор, Лета, чугун, тропинка
ландыш, Ипокрена

Из *слов* данных слов требуется составить *десять* других слов, значения которых: 1) место свиданий науки и невежества, 2) двигатель, 3) город в России, 4) историческое лицо, 5) добрая женщина, 6) часть повозки, 7) благовесть диафрагмы, 8) первый архитектор (см. Библию), 9) бездельник, 10) женское имя.

My grand ciel rose,

утром один поехал в Груневальд, с десяти до часу валялся голый на песочке, затем вернулся и обедал (печенка, яблочное пюре). Неожиданно явился почтальон и вручил мне пятнадцать марок от какого-то Lazarus (полагаю, что он твой ученик?). Это было спасенье, так как у меня ни копейки не было, а тут пришло белье (4.50) и дама с папиросами (2.50). А человек, знаешь, совершенно пропал! A t'il eu vent de quelque chose? Должен тебе сказать, что начал я сегодня писать этот письмыш около половины третьего; остановился; пошел играть в теннис (опять прекрасная жара). Однако около шести хлестнул ливень, я побежал домой et je me régalai d'un bain froid. Полежал в одном халатике – и вдруг заметил, что промокашка, которую ты, мое розовое небо, так бережно несла в тот далекий день, когда мы ее купили, все еще лежит свернутая на шкапу. Я поспешил ее разложить на столе, плотно прикрепил по углам кнопками (rubaïses). Оделся (все новенькое – галстучек, штанишки, твоя рубашка), и вот сейчас принесли мне ужин. Стоп.

Пужинал: мясики и макарони. Пока я ел, пришел твой дорогой, дорогой письмыш. 1) Маленький мой, умоляю тебя потерпеть еще недельки две... Я чувствую, что ты поправляешься. А причина температурки – ты ведь знаешь какая... 2) Burns мне очень нравится, но имей в виду, что строчка «My dearest member nearly dozen» – чрезвычайно непристойная. 3) Не знаю еще точно, когда стану Позднышевым. Во всяком случае не раньше твоего возвращения. 4) Шифрованное четверостишие есть «Я знаю холодно и мудро» и т. д. Очень стыдно, что не угадала. Я бы сразу разобрал. Мне жалко, что мои маленькие игры тебе не по вкусу... Еще сегодня pošлю, а завтра уже нет... 5) Исправил письмо к Ханне – и воздерживаюсь от замечаний...

О мое милое, родное, бесконечно любимое... Какой милый письмыш... Как я люблю тебя... Сейчас восемь часов. Нужно собираться к Татариновым. Дождь перестал. Я люблю тебя. Стоп.

Вернулся. Около двух. Действо происходило у Кадишей, читала Данечка о «танце». (Волховыцкий сегодня не мог.) Татаринов мне дал № «Русского слова» (Харбин), в котором полностью перепечатана статья Айхенвальда о «Машеньке». Любовь моя, это приятно? Сложил в картонку. Я массу съел абрикосов и очень-очень-очень люблю тебя. Я тебе запрещаю рассуждать о том – скучаю ли без тебя или нет!

Верх невежества: думать, что «curriculum» – это маленькое имя графа Витте. А на вечере один из присутствующих утверждал, что танцем можно все выразить, – что можно танцевать «бесконечность». Я возразил, что нельзя танцевать без конечностей. Душа моя, ложись спать.

Поздновато. Этот письмыш я писал в три приема. Люблю тебя, мой Котищ, моя жизнь, мой полет, мой поток, собаченька...

В.

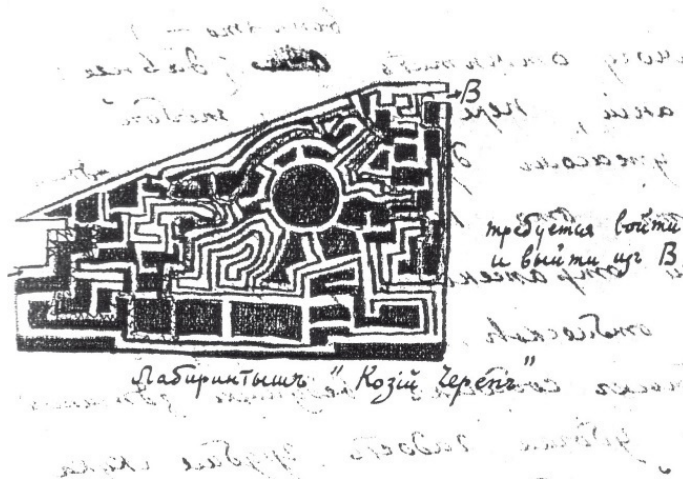
63. 4 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

4 – VII – 26

Требуется войти в А и выйти из В.

Лабиринтыш «Козий Череп».



Душенька моя,

с утра шумел дождь, – я только вышел, чтобы опустить письмо, а потом весь день провел дома. К обеду было: телячье жито и компот из абрикосов. Явился папиросный человечек – с огромным мокрым зонтиком и чрезвычайно небритый. Я взял у него сотню. После обеда читал, пробовал писать, но был не в ударе. Затем задремал под шум дождя, и когда проснулся – пролетало над крышей и в лужах чистое голубое небо. Опять читал – и вскоре принесли ужин. Яишница и мясики. Сейчас половина девятого. Видишь, моя душенька, какой у меня был интересный денек. Пожалуй, на полчаса выйду пройтись до спанья... Моя душенька...

Моя душенька, я теперь особенно живо чувствую, что с того самого дня, когда ты в маске пришла ко мне, – я удивительно счастлив, наступил золотой век для души (ах, по бумаге прыгает моль: не беспокойся, это не *pellonela* или *сагрейПа*), и, право, я не знаю, что мне еще нужно, кроме тебя... Моя душенька, из побочных маленьких желаний могу отметить вот это – давнее: уехать из Берлина, из Германии, переселиться с тобой в южную Европу. Я с ужасом думаю об еще одной зиме здесь. Меня тошнит от немецкой речи, – нельзя ведь жить одними отраженьями фонарей на асфальте, – кроме этих отблесков, и цветущих каштанов, и ангело-подобных собачек, ведущих здешних слепых, есть еще вся убогая гадость, грубая скука Берлина, привкус гнилой колбасы и самодовольное уродство. Ты это все понимаешь не хуже меня. Я предпочел бы Берлину самую глухую провинцию в любой другой стране. Моя душенька...

Моя душенька, все-таки посылаю тебе и сегодня загадку – очень милый лабиринтыш. Послал бы тебе шахматную задачку, если у тебя были бы шахматы. Ведь по диаграмме не решишь?

Завтра заседание правления союза журналистов (в Литер, худ. кружке), на котором выяснится, когда будет «Суд», и окончательно распределятся роли. («Прокурор» – Айхенвальд). Все это довольно глупая история, – но цель – пополнение фонда – благая.

Забыл тебе вчера написать: латинское название капустницы – *Pieris brassicae* L. (*Pieris* – пьерида, *brassicae* от *brassica* = капуста, «L» сокращен. «Линней», который в своей «Системе

природы» впервые классифицировал бабочек и дал латинские названия наиболее распространенным). Моя любовь, я так рад, что вы нахватываете фунтики. Я люблю вас чрезвычайно. Целую отдельно каждый фунтик, счастье мое головокружительное... *В.*

64. 5 июля 1926 г.

Берлин – Синкт-Блазиен



АЭРОПЛАН

Как поет он, как неожиданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул – и поет
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает!

В этот мирный день воскресный
чуден гул его небесный,
бархат громовой...
И под липой, у решетки
банка запертого, кроткий
слушает слепой.

Губы слушают и плечи:
тихий сумрак человеческий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки...
Рядом пес его со скуки

щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,
замер, – голову закинув,
смотрит, как скользят
крылья сизые, сквозные
по лазури, где большие
облака блестят.

В. Сирин 5— VII— 26 Полдень

65. 5 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

5 – VII – 26

Что-то вроде эпиграммы на Айхенвальда.

Он свысока не судит ничего, —
любитель слов, любовник слова.
Стих Пушкина есть в имени его:
«Широкошумная дуброва»...

Фунтики мои,

получили ваш исключительно дорогой письмыш и отвечаем по пунктам. 1) Деньжата у нас, к сожаленью, не водятся. В наших карманах сейчас семьдесят три фенига. Поговорим с Анютой, ибо все равно завтра нам нужно платить за закут. 2) О «Руле»: в письмыше от 27 июня вы к нам пишете: «Заплатил ли ты за июль? На *август* не выписывай, т. к. мы уже выписали отсюда». Естественно, что мы сразу распорядились насчет *июля*. Письмыши ваши мы, кстати, знаем наизусть. 3) Анюте мы только должны старые 29 мар. Завтра займем до пятнадцатого 50. 4) В Тегель мы должны двадцать марочек. 5) Грегер ни гугу. 6) Любим вас. 7) В дырявых.

Ночью я сочинил новый стишок, мои фунтики, и утром тебе его послал. А встал поздно: мало спал. Обедал: битки и шоколадный студень. На полчаса опоздал к Заку (у которого должен был быть в 3 часа) по следующей причине: во дворе грянула сиплая русская песня. Я выглянул. Маленький коренастый человек стоял в соседнем дворе – отделенном от моего забором – и орал во весь голос «Калину». Потом сдернул картуз и обратился к пустым окнам: «Ну что же, православные». Я положил полтинник в спичечный коробок и швырнул. Попал в забор, – коробок остался лежать желтым квадратиком на моей стороне забора. Человек крикнул, что обежит кругом. Я ждал, ждал – он не появился (потом, когда я вернулся, то желтый квадратик исчез. Надеюсь, это он его нашел). С Ш. мы пошли играть в теннис. Около пяти небо почернело (я никогда не видал такой сплошной черной дали. Все на этом фоне – дома, деревья казались электрически-бледными) и ухнул такой ливень, что через несколько минут площадки превратились в бассейны – где плавали листья, окурки и даже половина бутерброда. Мы долго ждали в павильоне, потом перебежали в кабачок (все это происходило близ Кайзердамма), там выпили пива. Вернулся я домой мокроватенький – с «Observer ом» и «Звенем» (который тебе послал. Там запятая испортила первую строку моего стишка). Ужинал (мясики, яишница, холодный биток) и поплыл (переодевшись) в Лит. худ. круж., где обсуждался вопрос о «Суде». Оказывается, что нет «защитника». Но еще надеются найти. Пунктики мои, в «Современных записках» (мне это показал Арбатов) великолепная большая рецензия о «Машеньке» (Осоргина) – одна из самых приятных рецензий. (Книжку достану в «Слове».) А в варшавской газете «За свободу» необычайно похвальный отзыв о моем выступлении на Вечере культуры (тоже постараюсь достать). Дома я был половина двенадцатого и вот тебе пишу, мой килограммыш. Скоро вы можете собираться в путь-дорогу. Мы из принципа не пишем вам, скучаем ли без вас... Фунтики мои, жизнь моя... Какая хорошая пчелка над головой араба!.. В.

66. 6 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

6 – VII – 26

Милая моя жизнь,

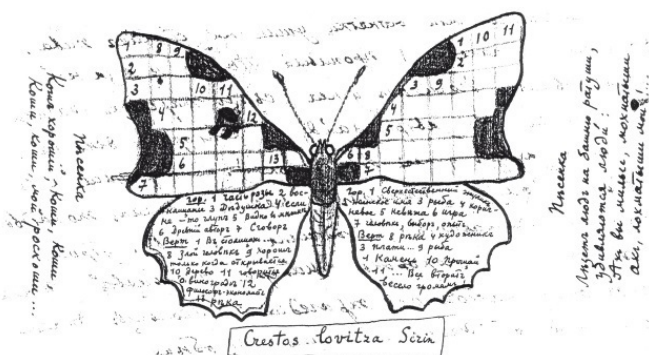
утром (было перламутрово-пасмурно) поехал к Заку, читал с ним рассказ Wells а (о том, как у одного человека вследствие электрического удара случилась престранная вещь с глазами: он видел остров на антиподах – морской берег, скалы, загаженные пингвинами, – но там жили одни его глаза, – он вскоре понял, что сам находится, где и был раньше, – в Лондоне, слышал слова друзей, мог ощупать предметы – но видел только этот берег, и пингвинов, и тюленей, которые, переваливаясь, ползли *сквозь* него, – и когда он сам с помощью друзей взбирался по лестнице – в Лондоне, – ему казалось, что восходит по воздуху, висит над песчаным берегом, над скалами). Почитав, долго ели кружовник (похожий на маленькие футбольные мячи) в саду и затем погуляли. Я вернулся домой, обедал (что-то вроде «беф Строганов» и очень вкусная сладкая поджаренная яичница) и, увидя, что солнце вышло, отправился (с «Крейцеровой сонатой») в Груневальд. Там было удивительно хорошо, хоть и людно, – и вода после недавних бурь сористая. Прошел торговец, неся на отвесе словно нити разноцветных бус и выкрикивая: «Метр – один грош». Оказалось, что это – бумажные ленты леденцов! Пробыв на солнце около трех часов, я не спеша, пешочком, – отправился домой. В одном месте, на Hohen zollern dam, строился дом, сквозь него, в кирпичные проемы, видна была листва, солнце омывало чистые, пахнущие сосной балки – и не знаю почему, но какая-то была старинность, божественная и мирная старинность развалин, – в кирпичных переходах этого дома, в неожиданной луже солнца в углу: дом, в который жизнь еще не вселилась, был похож на дом, из которого она давно ушла. А дальше в глубине одной из боковых улиц мне явился – восточный вид: настоящая мечеть, фабричная труба, похожая на минарет, купол (крематории), деревья на фоне белой стены, похожие на кипарисы, – и две козы, лежащих на желтой траве, среди маков. Это было мгновенное очарование – его рассеял грузовик – и восстановить его я уже не мог. Прошел я дальше через Фербеллинерплац, где некогда на скамеечке сжививали большой, красивый – и маленький, гаденький, и через Гогенцоллернплац, где разошелся я случайно с такой милой, милой маской, – в еще более давние времена. Насчет давних времен: в берлинской «Иллюстрированной газете» воспроизведен рисунок из журнала мод 1880 года: платье для лаун-тенниса. Изображена, как-то боком к сетке (похожей на рыбачью сеть), дама с малюсенькой ракеткой, поднятой этаким жеманным движением, – а за сеткой стоит с такой же жеманной ракеткой господин в высоком воротнике и полосатой рубашке. Дама же одета так: очень темное платье, большущий турнюр, полоса кушака по нижней части стянутого живота, тугой бюст – и посередине, с подбородка до пупа, ряд бесчисленных пуговок. Ножка на высоком каблучке скромно мелькнула из-под нарядного подола, и, как я уже говорил, ракетка поднята – над большой волнистой шляпой. В таком платье, вероятно, играла в теннис Анна Каренина (см. роман того же названия). Эту картинку мы вчера видели с Шурой, когда в кабаке пережидали дождь, – и очень смеялись.

Дальше пошел я по Регенсбург и зашел к Анютам. Однако там никаких анют не оказалось, и я сел поджидать их в небезызвестном кафе на углу, где последние мои монетки ушли на стакан пива. Вскоре (с пакетами) проплыла Анюта, и я за ней проследовал. Посидел у нее, съел тарелочку малины и условился, что завтра зайду в контору за деньгами. (Нынче занял у нее одну марку.) Вернулся я к восьми домой, ужинал (мясики и салат томатовый). Звонила Татарина, сообщила, что завтра утром в Тегеле – похороны матери Усольцевой (у них про-

изошла настоящая трагедия: Усольцев делал впрыскивания жене и теще. У обеих последовало заражение крови. Н. Я. выжила, мать ее, шесть недель промучившись, третьего дня умерла). Сейчас половина десятого. Небо чистое. Теплынь. И я пишу к тебе, жизнь моя милая. Милая моя жизнь, отчего это ты мне ничего не пишешь о твоём новом знакомом «из Москвы»? А? Мне очень любопытно... Он молодой, красивый? А?

Культияпушка, милое мое, дней через десять, я думаю, что вернешься. (Но все-таки постарайся дотянуть до двадцатого... Мне очень трудно это говорить тебе, но право же – чем дольше ты там пробудешь, тем лучше тебе будет, жизнь моя.)

Хорошая бабочка? Я ровно два часа над нею бился – зато ладно вышло. Жизнь моя, если б ты знала, как кошки кричат на дворе! Одна кричит истошным басом – другая мучительно завывает. Будь у меня сейчас револьвер под рукой, я бы стал в них палить, честное слово! Меня эта бабочка здорово утомила. Жизнь моя, люблю вас. Читал нынче «Крейцерову сонату»: пошловатая брошюрка, – а когда-то она мне казалась очень «сильной». Немало еще интересного найдешь в боковых отделенных, жизнь моя милая. В.



Crestos lovitzza Sirin

Гор. 1. Часть розы. 2. Восклицанье. 3. Дедушка. 4. Если не – то глуп. 5. Видно в мешке. 6. Древний автор. 7. Сговор.

Верт. 1. В столицах... 8. Злой человек. 9. Хорош, только когда открывается. 10. Дерево. 11. Говорится о винограде. 12. Философ-экономист. 13. Река.

Гор. 1. Сверхъестественный жулик. 2. Женское имя. 3. Рыба. 4. Коричневое. 5. Невежа. 6. Игра. 7. Человек, выбор, опыт.

Верт. 8. Река. 4. Художник. 3. Плати... 9. Рыба. 1. Камень. 10. Прощай. 11... Все вторит весело громам!

Песенка

Кош хороший, Коши, Коши,
Коши, Коши, мой роскоши...

Песенка

Лезет люд на башню ратуши,
удивляются люди:
Ах вы милые, мохнатыши,
ах, лохматыши мои!..

67. 7 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

7 / VI(I) – 26

По средам у Милейшего (редактора) отпуск,
так что нынче маленькой задачки нету.

Милый мой,

сегодня был у меня очень приятный день. Утром, около десяти, покати́л в Груневальд. Сперва было пасмурно, потом хлестнул великолепный, насквозь золотой ливень (пронзенный солнцем), и после этого солнце жарило всюю и я купался, делал гимнастику, бегал, лежал на угле – до 4-х часов! На обратном пути зашел в контору и там нашел (он утром вернулся из Амстердама и послезавтра едет в Бордо – и обратно через Париж в Амстердам) твоего отца, который очень важно, в роговых очках, сидел в своем деловом кабинете. Анята дала мне (до 13-го) шестьдесят марок и обещала тебе кое-что послать. Страшно голодный, я вернулся домой: там было ужасное волнение – пропал, мол, хотели звонить в полицию. Обед, однако, мне дали: холодный вишневый суп (очень вкусный), мясо, завернутое в капустные пеленки, и нечто, похожее на засахаренный ананас – оказавшийся реповым компотом. А на столе улыбался беленькой улыбкой дорогой письмыщ. Милый мой, не «рай мне», а просто «опьяни» – и соответственно с этим не «сухари», а «сухарь». Ты хочешь знать, почему «араб» есть «забота» Longfellow? А вспомни-ка стих его: «...and the *cures* that infest the day shall fold their tents like the *arabs* and as silently steal away». То-то же. С мехами и «Рулем» – все устрою. Шрифтиш разобрал без помощи ключа (клянусь, – ка, эль, я, эн, у, эс, мягкий знак). Same here, my sweet love...

Пообедав, прилег и ровно час продрыхал. Проснувшись в шесть часов, пошел на теннис. На углу увидел две плотных спины: Аняту и Веревкина, покупавших у лотка кружовник. Играл я до восьми часов. Принял великолепный душ, прилично оделся и к десяти (поужинав: сосиски с картофельным салатом да мясики) отправился к Татариновым, где заседали те восемь человек, которые будут участвовать в «суде», а именно: Айхенвальд (прокурор), Гогель (эксперт), Волковисский (второй прокурор), Татаринов (представитель прессы), Фальковский (защитник), Кадииш (председатель), Арбатов (секретарь) – и маленький я (Позднышев). Было не без юмора отмечено, что в этой компании евреи и православные представлены одинаковым числом лиц. «Суд» произойдет не раньше середины будущей недели.

Сейчас половина первого, мой милый, и я тебя чрезвычайно люблю. Страшно меня радует мысль, что, верно, погодка у вас хорошая. Милый мой, радость, любовь, сердце мое, сладкое мое сердце, набавь еще фантиков... У меня локоток совсем прошел от солнца – но это, конечно, временно. Целую тебя, мой милый, все возможные и невозможные штучки целую – и потом, очень осторожно – Жизнь моя! В.

68. 8 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

8 – VII – 26

Вот тебе новая задачка. Сперва пример, вот:

1		К	а	и	р	
2		у	н	и	я	
3		д	е	д		
4		а	д	ь	е	
5	↓	г	а	ш	и	↓

Первым двустишием объясняю *целое* – составленное из первых и последних букв заданных слов (напр., как здесь «Куда грядеш»). Затем объясняю двустишием первое слово («Каир»), затем второе и так все слова. Так вот тебе такая загадка.

ЦЕЛОЕ

Поляна, домик в розах... Благодать!
Вот тут бы, друг, и жить и поживать...

1

Плод чрезвычайно вкусный – но не дыня;
в середине же – парижская богиня!

2

Великий царь! Здесь кроется донос!
О царь, взглядишь: здесь ухо есть и нос.

3

Я в них ходить не очень-то люблю.
Предпочитаю хижину мою.

4

Копейка – вход! Смотрите, шестипалый,
весь в волосах, – но в общем добрый малый.

5

Тронь: острое! Я вижу, трепеща, —
Тоledo, ночь и блеск из-под плаща.

чил я сегодня от мамы письмо: Ольга была больна, ее рвало, но теперь все хорошо. Друг Сергея болен тифом. Милый и разноцветный мой петушок, не спеши с приездом слишком, еще пополей, петушок... Я полагаю, что никогда в нашей жизни таких разлук не будет больше, – но вот эту нужно вытерпеть до конца. Хороший мой, тепленький, не могу тебе сказать, как пронзительно-беспрестанно думаю о тебе.

Покойной ночи, мой петушок... В.

69. 9 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

9 – VII – 26

Романс, сатин, буфет, рама, лопух
мошенник, засов, тина, тишина
одинокый, тура.

Требуется: из этих одиннадцати слов (т. е. из их слогов) составь *девять* других: 5 – русских поэтов, 2 – формы поэтических произведений, цветок, птица.

Козлок,

утром было пасмурно, поехал к Заку (кстати: он теперь будет лишний раз «заниматься» – в субботу. Деньги брать?), ели крыжовник, читали, затем я покатыл в «Руль». Отменил второй экземпляр. «Комната» появится завтра. Все меня поздравляли с рецензией в «Совр. зап.». Вернулся домой, на верхушке автобуса. Обедал: печенка и компот из слив. Подремал часок, небо тем временем прояснилось. Выглянул из окна и видел: рыжий маляр поймал в тачку мышку и ударом щетки убил ее, потом бросил в лужу. В луже отражалось темно-голубое небо, быстрые черные ижицы (отраженья высоко летавших ласточек) и колени ребенка, который, присев на корточки, внимательно разглядывал серый кругленький трупик. На маляра я заорал, – он не понял, в чем дело, обиделся, стал яростно ругаться. Я переоделся и пошел на теннис. Хорошо играл: все хвалили. К сожаленью, левый башмак разинул рот: придется завтра отдать починить. Такие-то дела, мой козлик.

Вернулся, вымылся, надел черную пижамку, поужинал: яишница с мясом и картофелем, обычная ветчинка да колбаска. Затем сочинил для тебя новые «волшебные слова» и вот теперь пишу к тебе, мой козлик. Двадцать минут десятого. Обожаемое мое, опять письмыши прекратились... Думал, нынче будет, – ан нет. Я тебя люблю. Я потерял счет моим письмам.

Козлик мой, скоро должен появиться у вас аполлон, *Parnassius apollo* L., – большая белая бабочка в черных и красных крапинках. Летает на горных полянах, полет вялый; рано утром может быть найдена спящей на клевере. Если увидишь, напиши.

Мой козлик, получила ли ты мою карточку с новым стихом и рисунком? Я тебя люблю. Я сегодня не брился, – лицо так и хрустит под ладонью. Люблю тебя. Вчера (когда шел на теннис) купил бритву, спичек и марок – в новом почтамте на Гайзбергерштр. (Винтерфельдовский закрылся.) Все забываю зайти в часовой магазин, – а также – позвонить к Б. Г. Я люблю тебя. Пора опять стричь ногти. Я очень люблю тебя. Козлик мой, ты слышишь, я люблю тебя... Нужно купить новый блок. Люблю тебя. Покойной ночи, мой козлик. В.

70. 10 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

10 – VII – 26

<u>За июнь месяц</u>	
<u>Получено</u>	<u>Потрачено</u>
288 Зак	55 × 5 = 305 квартира
98 Капл.	25 + 25 = 50 маме
27 Жизнь моя	25 Тегель
8 «Руль»	25 папиросы
	10 белье
	20 мелочи
421	435
	30 теннис
	465
	10 librairie
	475

Кое-что мне еще следует из «Руля» (мало).

Во вторник – 13-го – получаю 150. Из них 50 Аняте, 55 вперед за комнату (до 20-го) и 25 маме. (За теннис больше *ничего* вносить не нужно.)

Любимыш,

утром Ш. отзвонил урок, так что я не спеша мылся, брился, одевался и сел писать. Шел сильный дождь. В лужу на дворе пролилось масло: сперва образовался огромный стального цвета овал, и в середине его медленно расцвело чудеснейшее пятно, которое медленно стало менять цвета. Представь себе материк на карте – где, скажем, горы дивно фиолетового цвета, переходящего в нежно-сиреневый по краям, – где малахитовым оттенком отмечены лесистые места, и розовым равнины, и оранжеватым плоскогорья. Затем, мой любимыш, эти краски медленно стали блекнуть, все пятно принимало песочные и коричневатые оттенки, словно высохла растительность и материк превратился в пустыню. Но еще долго медлили там и сям зелено-розовые узлы, так что лужа была похожа на огромный тускловатый опал.

Сперва я писал «рецензию» (кажется, занятно выйдет), затем принялся за «речь Позднышева» (еще не знаю, как выйдет). Принесли белье – 4 марки (мне, кстати, приходится почти каждый день менять рубашку – страшно потею). Потом был обед: толстокожая колбаса и яблочное пюре. Явилась дама с папиросами. Моя тетка Витгенштейн крестила ее мужа. Опять сел писать. Получил письмо от Веры Набоковой (она кротко удивляется финансовому гению мужа). Погодка меж тем прочистилась, акация надела свой теневой пенюар. Да. Получил еще телеграмму от С. Каплана из Биаррица такого содержания: 90 Pension Le-fevre cheaper possible too. Девяносто франков – это, кажется, около девяти марок. Продолжал писать, затем пошел в библиотеку переменить книжку. Ах, должен тебе выписать упоительное место из «Le Martyre de l'Obèse» – любовное приключение одного толстяка (очень талантливая книга Henri Béraud). Глядя на его полноту:

«...mon tailleur ébahi en avalait ses épingles. Sans compter que mon cas épuisait ses euphémismes.

– Monsieur est un peu fort, disait-il tout d'abord.

Puis il changea:

– Monsieur est fort... Monsieur est très fort... Monsieur est puissant...

Puissant, il s'en tint là. Après cela, il prit mes mesures en silence, comprenant, soudain, que d'un adjectif à l'autre, il en viendrait bientôt à me dire: „Monsieur est formidable... Monsieur est phénoménal... Monsieur est répugnant...“»

Правда смешно? Прочтешь, когда вернешься.

Ужинал: мясики. Собираюсь сейчас к Татар., где Айхенвальд читает «о пошлости». Дам ты всех видела. Ах, знаешь, что сейчас случилось? Я нашел Милейшего (редактора нашего отдела «задачек»), маленького, в помятом сюртучке, рыдающего в мусорной корзине. Спрашиваю: «В чем дело, Милейший?» Всклипывает. Не понимаю, кто это мог его так обидеть... Может быть, ты знаешь?.. Посылаю сейчас письмо, чтобы ты раньше получила. Очень, очень целую и обнимаю тебя, мой любимыш. В.

71. 11 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

11 — VII — 26

НИК. СЕРОВЪ	Е.Т. ИВАНОВЪ-СЕРИНЪ	М.М. СУКОТИНЪ
Насколько он старше или моложе меня?	Какое его любимое изречение?	Отчего он пишет свою фамилию без твердого знака?

Тигришенька,

с почтовой бумагой неладно – приходится сегодня писать на полосатой, – и размаху нет.

Утром лил дождь. Да: ведь я еще про вчерашний вечер не писал. Так вот. Айхенвальд сладостно, но не убедительно глаголил – о метафизической пошлости (доказывая, что раз человек «черта начальна божества» и высшее достижение материи, то он тем самым как бы сидит меж двух стульев – это уж мой образ, – между стулом материи и стулом духа, т. е. является золотой серединой, т. е. посредственностью, т. е. пошлостью. Человек обречен на пошлость. Были еще сравнения с «водомером» Тютчева и с «богочервем» Державина). Я сочинил с Раисой «анкетные» вопросы, которые посылаю тебе с просьбой заполнить. Между прочим, чтобы не забыть: последние три строчки второй строфы «Аэроплаши» я переменял. Нужно читать: «И у парковой решетки, на обычном месте, кроткий слушает слепой». А то «банк» ни при чем. Итак, утром, мой тигренок, лил дождь и я решил весь день сидеть дома и писать. К шести часам Позднышевскую речь кончил. Около двух (а обед был такой: телятина и компот из Королев Клавдий) заходил человек, – я взял сотню. Уже на моей акации листочки желтеют и осыпаются, золотыми язычками покрывают землю. А после дождя их собрал огромная лужа, иные скучились у решетки водостока, образуя коричневатое-желтое пятно, похожее на чуть поджаренный край яичницы. Читал немножко, затем ужинал: глазунья и мясики. Сейчас без десяти девять. Только что потухли на матово-голубом небе чудесные розовые перья параллельных облаков – эфирные ребра неба. Речь Позднышева – сплошная отсебятина. Пошлю тебе, как только прочту (милое мое, это будет во вторник – и я не могу тебе сказать – и не должен тебе сказать, – как мне хотелось бы, чтобы ты на этом «Суде» была... Милое мое, только когда ты приедешь, я тебе расскажу, как я бесконечно тосковал без тебя, – но сейчас ты не должна это знать – «мне очень весело без тебя» – и должна еще немного поправиться. Мое милое, рыженький мой портфельчик толстеет вместе с тобой – ты на фунтик, он – на письмыш. А розы с моего стола исчезли: больше месяца стояли. Я почему-то сейчас думал о том, что жизнь такой же круг, как и радуга, – но мы видим только часть – разноцветную дугу. Мое милое...)

В.

Анкета для нескромных и любопытных¹⁰⁷

(ни для кого не обязательна)

1. Имя, отчество, фамилия

2. Псевдоним или желательный псевдоним

¹⁰⁷ Машинопись на отдельных листах.

3. Возраст и желательный возраст
4. Отношение к браку
5. Отношение к детям
6. Профессия и желательная профессия
7. В каком веке хотели бы жить?
8. В каком городе хотели бы жить?
9. С какого возраста себя помните и Ваше первое воспоминание
10. Какая из существующих религий больше всего приближается к Вашему мирозерцанию
11. Какую литературу больше всего любите. Какой род литературного произведения
12. Ваши любимые книги
13. Ваше любимое искусство
14. Любимое произведение искусства
15. Ваше отношение к технике
16. Признаете ли философию? Как науку, как времяпрепровождение
17. Верите ли в прогресс
18. Любимое изречение
19. Любимый язык
20. На каких основах стоит мир?
21. Какое чудо Вы бы совершили, если бы имели к этому возможность
22. Что бы сделали, если бы внезапно получили очень много денег
23. Ваше отношение к современной женщине
24. Ваше отношение к современному мужчине
25. Добродетель и порок, который Вы предпочитаете в женщине и какие порицаете?
26. Добродетель и порок, который Вы предпочитаете в мужчине и какие порицаете?
27. Что доставляет Вам самое острое наслаждение?
28. Что доставляет Вам самое острое страдание?
29. Ревнивы ли Вы?
30. Ваше отношение ко лжи
31. Верите ли в любовь?
32. Ваше отношение к наркотикам
33. Наиболее памятный сон
34. Верите ли в судьбу и предопределение?
35. Ваше следующее перевоплощение?
36. Боитесь ли Вы смерти?
37. Хотели ли бы Вы, чтоб человек стал бессмертен?
38. Ваше отношение к самоубийству
39. Антисемит ли Вы? Да. Нет. Почему?
40. «Любите ли Вы сыр?»
41. Любимый способ передвижения
42. Отношение к одиночеству
43. Ваше отношение к нашему кружку
44. Придумайте название для него
45. Желательное меню

72. 12 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

12 — VII — 26

Моя бесконечная любовь,

нынче мне не хочется рассказывать тебе о том, как ездил в Груневальд, как обедал, как играл в теннис, как читал мою «речь» на заседание правления (опять похвалы, похвалы... мне начинает это претить: ведь дошли до того, что говорили, что я «тоныше» Толстого. Ужасная вообще чепуха), – обо всем этом мне нынче не хочется тебе рассказывать, а хочется только говорить о том, как я люблю, как я жду тебя. Даже задачки сегодня не будет: Милейший отпросился в Зоологический сад, по делу (туда привезли тетку маленького Шоу; он еще не знает. Ужасно сложная и грустная история. Как-нибудь расскажу тебе подробнее). Мне хотелось бы, чтобы ничего, ничего не было бы в этом письме, кроме моей любви к тебе, счастье и жизнь моя. Когда я думаю о том, что я тебя скоро увижу, обниму – у меня делается такое волнение, такое чудное волнение, что перестаю на несколько мгновений жить. За все это время я всего только раз видел тебя во сне, – да и то очень мимолетно. Я не мог, когда проснулся, вспомнить весь сон, но я чувствовал, что в нем было что-то очень хорошее; как иногда чувствуешь, не открывая глаз, что на дворе солнце, – и потом неожиданно, уже к вечеру, снова задумавшись над этим сном, я вдруг понял, что то хорошее, восхитительное, что скрывалось в нем, была ты, твое лицо, одно твое движение, – мелькнувшее через сон и сделавшее из него нечто солнечное, драгоценное, бессмертное. Я хочу тебе сказать, что каждая минута моего дня как монета, на изломе которой – ты, и что если б я не помнил тебя каждую минуту, то самые черты мои изменились бы – другой нос, другие волосы, другой – я, так что меня просто никто бы не узнавал. Моя жизнь, мое счастье, мой милый чудесный зверь, умоляю тебя обо одном. Сделай так, чтобы я один тебя встретил на вокзале, – и больше того – чтобы в этот день никто бы не знал, что ты приехала, – а объявилась бы ты только на следующий. Иначе все будет для меня испорчено. И я хочу, чтобы ты приехала очень полной, и совсем здоровой, и совсем не встревоженной всякими глупейшими, практическими мыслями. Все будет хорошо. Жизнь моя, сейчас поздно, я немножко устал, небо раздражено звездами. И я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, – и вот как может быть создан целый, громадный, сплошь сияющий мир – из пяти гласных и пяти согласных. Покойной ночи, моя радость, моя бесконечная любовь. Я сейчас думаю о том, как ты вздрагиваешь, когда засыпаешь, – и еще о многом другом – о том единственном, что словами не выразишь.

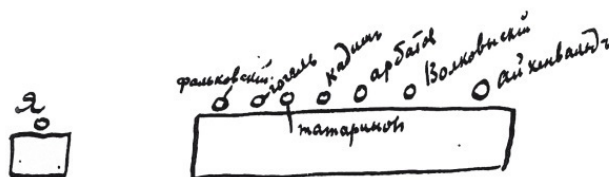
73. 13 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

13 – VII – 26

Мышенька,

утром груневальдовал с Ш., потом на обратном пути пришлось сделать кое-какие покупки – почтовые марки, теннисные туфли, «Современные записки» (которые завтра утром пошлю тебе – или, может быть, не стоит? Ведь ты скоро приедешь, моя мышенька, любовь моя милая...). Зашел в контору, отдал Анюте долг (остался ей должен 27 марок (старых самых), но еще десять отдам в субботу (получу из «Руля»)). Обедал: великолепный черничный суп холодный и телячья котлета. Затем пошел играть в теннис – и играл довольно дурно. Вернулся, обливался, почитывал до ужина (мясики) и около девяти поплыл по направлению Гутман зал. Был я не в смокинге (подсудимому все-таки как-то неудобно быть в смокинге), а в синем костюме, кремовой рубашке, сереньком галстуке. Народу набралось вдоволь (должна была быть Аня, но она почему-то не явилась), сыграли presto из Крейцеровой сонаты (кстати, ко мне пристали госпожа Шор с мужем, – непременно хотят, чтобы мы с тобой у них бывали; пришлось телефон дать), затем мы рассеялись в таком порядке:



Я, Фальковский, Гогель, Татаринков, Кадиш, Арбатов, Волковский, Айхенвальд

Я – у отдельного столика, направо от главного стола. Арбатов – довольно плохо – прочел обвинительный акт, Гогель – эксперт – говорил о преступлениях, которые можно простить, затем председатель задал мне несколько вопросов, я встал и, не глядя на заметки, наизусть сказал свою речь (которую и посылаю тебе). Говорил я без запинки и чувствовал себя в ударе. После этого – обвиняли меня Волковский (сказавший: мы все, когда бывали у проституток...) и Айхенвальд (сказавший, что Позднышев совершил преступление против любви и против музыки). Защищал меня – очень хорошо – Фальковский. Так как я дал совершенно другого Позднышева, чем у Толстого, – то вышло все это очень забавно. Потом публика голосовала – и я нынче уже пишу из тюрьмы. Мышонок мой, когда ты приедешь? Тебя ждет кругленький, очень милый мурмур. Я боялся его послать, – могли ему ножки отбить. Мышенька моя, отчего ты ко мне не пишешь? Сейчас поздно, у меня страшная жажда, все время пью. Татаринков и Айхенвальд завтра собираются в Ванзее, звали меня, – еще не знаю, поеду ли. Милое мое, радость, жизнь... В.

74. 14 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

14 – VII – 26

Кош, Кошенька,

любовь моя обожаемая... Сегодня около одиннадцати поехали в Ванзей. Татариновы, Айхенвальд, Гуревич (замечательно образованный господин, мой товарищ по Тенишевскому), Данечка, Mlle Иоффе и бывшая ученица Татаринова – полная, веснушчатая, смешливая дева. В общем, было скучновато, но эту скучноватость я подслащивал тем, что одну половину времени купался – один, – а другую беседовал с Айхенвальдом. Какой он прелестный, нежный человек... Кстати, пражский Слоним – его племянник, так что я с ним в отдаленном свойстве! Погода была очаровательная, Гуревич взял с собой две бутылки сотерна, я еще больше загорел. Дома был около девяти, поужинал (мясики) и вот пишу тебе, любовь моя обожаемая. Как ты, любишь ли меня, скоро ли вернешься? – я ведь ничего не знаю... Для меня тайна, почему ты мне не пишешь, mais je ne t'en veux pas, не хочешь – не пиши: я все равно тебя люблю. Душенька моя, представление Татариновых об «аусфлюге» – это сидеть в кафе. Они все так и делали, – а я купался, и Гуревич приносил мне в воду стакан за стаканом белого вина. Несколько раз ездили на пароходе, а назад вернулись на верхушке автобуса – до Цо. Я забыл ключи (т. е. просто не взял их, так как поехал без пиджака, в белом, и только прихватил твой рябченыш, который и надел под вечер), и Татаринова позвонила ко мне домой, чтобы мне открыли. Все удовольствие мне стоило около трех марок. Было весело? Нет.

Кошенька, посылаю тебе вырезку, статью в «Observer» об открытии касательно наружности Христа: «Человек среднего роста, сутуловатый, с длинным лицом, с сильно выдающимся носом, с сросшими бровями, с жидкими волосами, разделенными пробором посередке...» Все очень убедительно, по-моему, – и очень интересно.

Должен сообщить тебе одну вещь... Выслушай ее внимательно, постарайся вникнуть в нее, понять ее до конца. Может быть, эту вещь я уже тебе сообщал, но на всякий случай сообщая еще раз. Кошенька, это очень важно, – пожалуйста, обрати внимание. Есть немало важных вещей в жизни, напр.: теннис, солнце, литература, – но эта вещь просто не сравнима со всем этим, – настолько она важнее, глубже, шире, божественнее. Эта вещь – впрочем, нет нужды в таком долгом предисловии; прямо скажу тебе, в чем дело. Вот: я люблю тебя.

Кошенька, кош, да, я люблю тебя, я невыносимо тебя жду. И есть еще одна вещь, которую я хочу тебе сказать, – и эту вещь ты, пожалуйста, тоже выслушай внимательно и хорошенько запомни. Я хочу тебе сказать... Нет, пожалуйста, вникни хорошенько – я хочу тебе сказать, что я: бесконечно тебя люблю. В.

75. 15 июля 1926 г.

Берлин – Синкт-Блазиен

15 – VII – 26

Волшебные словечки

Толпа, стойка, чехарда, овчина, гора, щеголь, подагра, бирюза, заноза, Каин, гончая, государь, рама, маяк, сила, Минск.

Из этих сесънацати слоф тлебуйця зделать цецирнацать длюгих, снаценъе католих: 1) люский писятиль, 2) тозе, 3) тозе, 4) часть Сфинкся, 5) тозе, 6) делево, 7) пщица, 8) часть дямской одезды, 9) двизенъе, 10) неподзвизность, 11) плязник, 12) утес, воз петый Пушкиным, 13) гелоиня Никлясова, 14) маянькое отвельствие. С потыценъем МИЛЕЙШИЙ

Жар-звереныш,

утречком поехал с Ш. в Груневальд, солнце было чудесное, мы три часа грелись и купались. Вернулся домой (Милейший совсем разошелся – хочет и письмо писать вместо меня, вырывает перо...), обедал: шницель и компот яблочный. Представь себе, жар-звереныш, что весь фасад сего дома в лесах, а нынче рабочие забрались и во двор; глянул я в окно – а там невозмутимо выросла лестница. Внизу говор и стук, навалили кирпичей, (о) сыпается штукатурка, хлякают доски. Очень весело. Несмотря на шум, великолепно поспал часок и к четырем пошел на теннис. Играть было невероятно жарко. ВЕЛЬНУЛСЯ ДОМ (я встал, чтобы выпить воды, и этим воспользовался Милейший, – прямо невозможно!). Вернулся домой и нашел ваш письмыш драгоценный. Милейший просит скаЗАТЬ (нет, не хватай, – все равно не пушу!), что художник – это Коро (Corot), а «возглас», значит, должен быть «ку-ку». В квадратике «сам» = «Сирин». Крылья бабочки – верно. Только один квадратик правилен (рука, удод и т. д.) А акростих:

А нана	С
Н авуходоносо	Р
Г ост	И (angulus rides)
У ро	Д
Л езви	Е
У ксу	С

«Словечки» решены хорошо. Прочитав, жар-звереныш, твой письмыш, я стал мыться в шБ'е, и в это время рабочие ввалились в окно, стали (добродушно извинившись) ладить доски снаружи подоконника. Я преспокойно продолжал обливаться, потом делал гимнастику. Через пять минут они ушли. Поужинал: яичница и мясики. Так хотелось пить, что после ужина пошел в кафе на Виктория-Луизенплац, там выпил пива, и Милейший (кстати, он сейчас заснул, и писать гораздо спокойнее) сочинил там «словечки». Он непременно хотел, чтобы их «значение» я переписал бы, именно как он произносит, – а он, между нами говоря, – шепелявенький. Впрочем, задачка очень трудная.

В девять вернулся восвояси и вот пишу к тебе, мой жар-звереныш. Жду, жду, жду тебя. Нет сил больше удерживать тебя в Св. Блазии. Счастье мой, жизнь моя... Очень душно, – опять пойду глотнуть воды Я ПЛИТВОЛЯЛСЯ СПЯСЩИМ КЛЯНЮЮСЬ. МИЛЕЙ – ах какой невыносимый: опять воспользовался. Душа моя, покойной ночи. Люблю очень. В.

Очень душно, — так.
Их'ю могут быть я мит'ю, сп'ю, сп'ю,
К'ю, К'ю, К'ю. Милый

76. 16 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

Требуется найти в этом человеке:

- 1) другое лицо
- 2) мышь
- 3) зайчонка
- 4) цыпленка
- 5) лошадку
- 6) Тюфьку в новой шляпе
- 7) обезьяныша¹⁰⁸



16 – VII – 26

Моя любовь,

утром поехал с Ш. в Груневальд, вернулся домой (в комнате темно от лесов, все время стук, невыносимо), обедал: печенка и компот из вишен. Полежал (каменщики, к счастью, пошли обедать), затем сел писать. Однако у меня ничего не вышло, так как работа снова началась, сверху сыпались с грохотом мимо окна куски штукатурки, ударяли в стекло. Главное – я не могу добиться, чтобы мне толком сказали, когда эта гнусная работа прекратится, когда снимут леса, – подумываю даже переехать (конечно, если это продолжится еще два-три дня – можно выдержать. Я предпочел бы остаться здесь). В общем – скучноватая история. Зато погода дивная, под каждой липой облако благоуханья, чудесно. И скоро ты будешь здесь, моя любовь (только не в этой комнате – если к тому времени не снимут этих поганных досок), скоро ты будешь здесь – это такое счастье, что прямо не знаю, как его переживу... Ужинал: обычные мясики, сыр, редиски. Сейчас девять часов. В «Современных записках» великолепный рассказ Бунина и недурной отрывок из многологии Альданова. Есть тоже очаровательная баллада Ходасевича. Книжку, пожалуй, все-таки тебе пришлю, – только не знаю, как это делается. Завтра зайду к Анюте и с нею решу. Моя любовь, когда ты приедешь, я буду страшно тебя

¹⁰⁸ Надпись справа от рисунка головы, со спрятанными в ней изображениями других существ.

бранить за то, что ты мне так редко писала, и страшно хвастаться тем, что я к тебе писал каждый день. Заполнила ли ты анкетный лист? Я уже это сделал, и завтра вечером у Татариновых будет обнародование. Финансики мои вопиют. Так-то, моя любовь.

Моя любовь, целую тебя – с бровей до колен и обратно. Как тебе нравится сегодняшнее произведение Милейшего? Мне – не очень, но не хочется его обижать. Мне страшно нужны носки и одеколон. А рубашек у меня почему-то всегда вдоволь. Моя любовь, не поехать ли нам в Чехословакию на неделю? Между досок уже появились звезды. Покойной ночи, моя любовь. Ужасно жарко спать. Сплю без пижамы – и все-таки жарко. Люблю тебя. В.

77. 17 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

17 — VII — 26

Кошенька,

(кажется, маленькие повторяются, но у меня нет списка уже пущенных в ход, так что ничего не поделаешь). Утром пахло скипидаром, оттого что маляры сияющей на солнце красноватой краской мазали перила балконов налево от моих окон. Я надел все беленькое и поехал на мое озеро. Небо было безоблачно и наложило на меня еще один слой загара. Там купил и съел большой, бородавчатый, изогнутый соленый огурец. Человек с татуированной по локоть рукой разносил их в ведре, восклицая: «Зауер-юркен, зауер-юркен!» Вернулся я, обедал: битки и безмянное жэлэ (и простоквашка, оставшаяся от вчерашнего молока). Затем написал письмо к маме, затем поплыл на теннис. Жарища была страшная. Вернулся около шести, побаловался холодной водицей, полежал. В «Руле» рецензия о вечере-суде. Написала Раиса, и очень мило написала. Поплыл на Регенсбург – хотел там поужинать, чтобы оттуда прямо пойти к Тартарам, – но хозяйка – кстати сказать, похожая на старого суслика – объявила мне, что никого нет дома. Я побродил (нынче надел *faute de mieux* ажурные бальные носки) по вечерним улицам, покурил в сквере и не торопясь (около половины девятого) отправился к Татариновым, где Гуревич читал длинный и довольно занятный доклад о современной живописи (чтение анкет будет в субботу). Были Ландау, она – в совершенно уморительном платье из каких-то лоскутков, розовеньких, белых, кружевных, с несимметричными вышивками-цветочками. Маленькая птичья голова с седыми колбасками локонов<,> сзади спадающими на шею, была тоже очень комична, – но комичнее всего были пелеринки, которые она надела уходя, и высокая, слоеный колпаком, малиновая шляпа. Ни дать ни взять старенькая средневековая фея. А на вопрос «Какой ваш самый памятный сон?» и Гуревич, и я написали случайно одно и то же: Россия. Вернулся я поздно – и хотя очень устал, все ж таки (как говорит Голубев) пишу к тебе, моя Кошенька. Скоро ты приедешь! Скоро ты приедешь! Милейший уже спит, так что задачки сегодня не будет. Скоро ты приедешь! Я люблю тебя. Я тебя жду. Моя кошенька, я люблю тебя... И почему ты не пишешь? В.

78. 18 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

Волшебные словечки

Из семи дней недели и из слов: лоно, евреи, Синай, пародия – требуется составить 13 слов, значенье коих:

1) не делится пополам, 2) кустарник, 3) мотор, 4) властвование, 5) что религия берет у энтомологии, 6) низложи! 7) бывает на солнце, 8) борец, 9) занятие, 10) помощь, 11) центр, 12) часть света, 13) части корабля.

18 – VII – 26

Щенуша,

сегодня Татариновы опять устроили вылет, но я отказался ехать, позвонил утром, что не могу. Оделся поздно, очень спать хотелось. Обедал: говядина с горошком и Клавдии, – и уже в половина третьего был в Груневальде, где оставался до шести. Вернулся, ужинал: яичница и мясики, – надел халат и вот пишу к тебе, щенуша. По телефону нынче Раиса сообщила мне, что получила (и очень ею тронута) карточку от тебя. Ты, кажется, ко всем пишешь, кроме как ко мне. Хорошо ли это, щенуша? Кстати, помнишь ли стихи Боратынского:

своевольное названье
дал я милой в ласку ей
мимолетное созданье
детской нежности моей —

я не уверен, правильны ли первые два прилагательные, а остальные строфы не могу вспомнить. Помнишь ли ты? Сегодня тихо, маляров и каменщиков не слышно, – благо воскресение. Говорят, что эта музыка продлится еще недели две. Право, не знаю, как поступить. Щенуша, без аполлона не возвращайся! Как поживает твой знакомый (из Москвы)? Скоро ли ты будешь назад? Щенуша, обещай мне, что у нас никогда, никогда, никогда не будет к ужину колбасы. Обещаешь? Думал нынче вечером пойти к Анюте, да так и не собрался, – разомлел от солнца. А народу-то сколько там сегодня было! Я лежал с закрытыми глазами и думал, слушая широкий шум, человеческий гам: вот сейчас я мог бы быть и в десятом веке, – тот же галдеж, плеск, жар солнца, легкое кряхтенье сосен, ничего нет в окружающем шуме такого, чего не было всегда, с наипещернейших эпох. Но я ошибался. Совсем рядом раздался какой-то равномерный посапывающий звук. Не открывая глаз, я старался решить, что это такое. Наконец посмотрел: оказалось, это ребенок играет велосипедным насосом. Тот же ребенок потом подошел ко мне, внимательно поглядел на мой крест и сказал: «Христос». Очень было смешно, щенуша. Сейчас без четверти десять. Я люблю тебя. Лучше пускай будет от тебя письмыщ завтра, а то «я буду мстить». Насеко-мышь мой любимый, сегодня, по моим расчетам, я пишу к тебе сотую страницу. А твоих наберется десяточек, не больше. Симпатично ли это? Сейчас без двенадцати десять. Сейчас лягу спать. Тальк у меня еще держится, но вода для волос давно иссякла. Жду ответов из-за границы от Бунина, Шаховского, де Калри, – до сих пор ни один из них не ответил. Да, еще – от Дяди Кости. Всего вам доброго, щенуша, лапки ваши целую. В.

79. 19 июля 1926 г.

Берлин – Санкт-Блазиен

19 — VII — 26

Любовь моя,

утром получил милейший письмыщ – с описанием муравьиных самочек. Если приедешь в среду, то, конечно, это письмо не успеет прийти до твоего отъезда, моя любовь, но на всякий случай пишу, – дабы ты паче чаянья не осталась лишней – и бесписьменный – день. Не торопясь оделся, поехал в «Руль», где взял маленький аванс. Страшная жарница, хожу без пиджака. Вернулся на имперьяле автобуса. Обедая – телятина (кажется) и яблочный мусс. Затем поехал к Заку, играли с ним в теннис (кстати, слово «теннис» происходит от французского «tenez»: так – в древней игре – в крытом помещении – восклицал подающий мяч (у Генриха IV был очень сильный service), как теперь восклицают (впрочем, это делают только русские дачники, – в Англии это перевелось) «play!»). Вернулась из «Маришких Владин» Mme Зак, привезла мне в подарок очень милый серебряный карандаш (который собираюсь отдать в ломбард). По дороге обратно купил «Звено», «Observer» и – ввиду некоторого внутреннего расстройства – восемь капсуль Ol.(eum) Ricini, – очень красивые, аппетитные на вид, прозрачно-глянцевитые – и глотаются как устрицы (сейчас половина десятого, я в шесть проглотил четыре штуки – по совету аптекаря, – но пока никакого действия не произошло). К ужину съел только яйцо и выпил чаю. Занимался шахматами. Позвонил Элькин и сообщил, что 1) Адамович в «Звене» еще напишет о «Машеньке», 2) мне он привез письмо – перешлет завтра – от «Совр. записок» с просьбой дать им рассказ для следующего номера. Моя любовь, неужто ты приезжаешь? Неужто не сегодня завтра ты ко мне войдешь? Любовь моя, все маленькие ошалели от счастья... (Не понимаю, почему нет последствий?..) Посылаю тебе «Звено». Люблю тебя. Сегодня каменщиков не было, хотя леса все тут как тут. (Может быть, еще одну принять?) Бесконечно люблю и жду тебя. Пришли телеграмму. Моя любовь, моя любовь, моя любовь. Моя жизнь. В.

80. 22 декабря 1926 г.

Прага – Берлин

Мама тебе пишет завтра. Боксик лежит навзничь, выпятив крутую губку¹⁰⁹.

Здравствуй, зеленый,

моя любовь и мое счастье, мое одно-и-все. Я доехал отлично. Отопление было под самыми ногами. На границе здорово потрошили вещи. Чиновник никак не мог понять – что эта за штука – красная, – и мои спутники долго объясняли ему, что это «пияма». Меня встретили на вокзале Елена с женихом и Кирилл. Кирилл – огромный и говорит не то петухом, не то простуженным басом. Елена очень похорошела. Петр Михайлович – сплошное очарование. (Что он делал для мамы, не поддается описанию...) Елена и он страшно ласковы друг с другом, прямо приятно смотреть. Они поженятся в феврале, а Ольга и Шаховской – весной. У мамы вид неплохой, но к моему приезду был легкий припадок астмы. Живут они в общем неплохо. Меня поместили в комнату мамину, мама спит с сестрами, Скуляри – с Кириллом. Есть чешская прислуга, но не стряпает (ее взяли Епатьевы). Моя любовь и мое счастье. Рассказывала мама очень интересно о Сергее. Один из галстуков (бантиковый) я подарил Петру Михайловичу. Все были в упоении от гостинцев. Кириллу костюм – как раз. Как ваше здоровье? Я очень тоскую без вас... Вы мне очень нужны, мой зеленый. Я вернусь в воскресенье. Привезу шахматы и моих бабочек. О, мое счастье... Тут читали на одном собрании мой «Ужас». Сегодня вечером буду показывать поэмку. О пьесе все каким-то образом уже знают – и ходят слухи, что эмиграция в ней выявлена не в очень эмиграционном виде. В комнатах холодновато. Ты ж пиши мне, мой милый. На крышах – снежок. Я тебя гораздо больше люблю, чем в первые мои приезды сюда... В.

¹⁰⁹ Написано над начальными строками письма, в перевернутом положении страницы.

81. 23 декабря 1926 г.

Прага – Берлин, Пассауерштрассе, 12

Старенький, но почтенный,

только что получил твой письмыщ. Приедем в воскресенье. Читали вчера нашу поэмыщ. Были оба жениха. С Ольгиным играл в шахматы, раз – выиграл, раз – проиграл. Оказывается, прививали Боксин хвост маме, оттого что бывают случаи, когда астма – от собаки (в данном случае не помогло). П. М. называет Бокса – «Ботя». Он пополнел и постарел. В мокредь переходит улицу медленно-медленно. Когда он в пальтишке, то он называется «нищий», так как пальтишко на боку прорвано (от тренья об стену). У мамы легкие припадки. Она очень нервна. Скуляри ей делает впрыскивание адреолина. Вообще, настроенье в Праге – не веселое.

В «Красной нови» меня помянули «добрым словом». Нужно было бы достать этот № (последний). Был тут некоторое время тому назад вечер моих стихов. Читал некий Берс (он тоже прочел «Ужас» и «Благодсть»). Вчера посетили нас проф. Катков с сыном и Бобровский (его жена на сносях).

Спасибо за марковки, мой милый. Возьму сегодня билет. Душка моя, как я счастлив тобой, с тобой. А Айхенвальдыш-то как расхвалил претезиозный выкидыш Ландау! Я здоров и бодр. Задумываю (но не пишу) рассказ (не о Бэрации).

Как мне не хочется встречать Новый год на людях! Мне Гессен говорил, что поместит в «Руле» неприятнейшую заметку против «Пути». Ответ «г-ну Двурогину» (читай «Тригорин» = Волковысский). Обожаю вас. В.

82. 18 апреля 1929 г.

Ле-Булу

ПОЙМАНА
ТНАІS !

83. 1929 (?) г.

Берлин (?)

Моя любовь,

позвони мне к К. около 8.30.

У меня болят десны, язык, вся левая часть морды, и в шее желваком вздулась железа — прямо черт знает что такое!

Я люблю тебя.

В.

84. Ок. 9 мая 1930 г.

Берлин

Мое милое,

вот мое первое письмо. Звонил старик Гессен и просил меня взять пакет (книжки и пара ночных туфель, старых) для сына. Принесет на заседание. Затем звонил другой старик (Каминка) и просил сделать перевод – за коим я зайду, между Фальковской и заседанием. Письма были? Нет, если не считать воскресного кружка поэтов. Только что вошла моржа, спросила, везу ли я сундук (вчера принесенный) с собой в Россию, т. е. она думала, что я завтра еду в Россию (что мама живет в России). Прелестно. Во-вторых, она попросила для дочки «одну из улыштейновских книжек, которые вы получили. Моя дочь читает охотно улыштейновские книги». Кроме того, сообщила, что вчера умер брат ее мужа. Дай ей «К.Д.В.», если есть. Я все купил, что нужно. Сейчас зайду к Аняте и по дороге еще куплю кое-что. Я поел, но немного, – никакого вкуса, из-за насморка, который, впрочем, лучше.

Ну вот, мое счастье. Целую вас. Вернусь не поздно.

85. 12 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Лутпольдитрассе, 27

Душа моя,

приехал превосходно, на вокзале был встречен мамой: у нее прекрасный вид и прекрасное настроение. Боксик стар и толст, с седой мордочкой, не обратил на меня никакого внимания. Еленочка и Е. К. очень похорошели. Мне отвели маленькую, очень уютную комнатку. Елена рисует плакаты для моего вечера. Вообще, все очень хорошо. Душа моя, пиши мне.

В.

86. 12 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27

Душа моя,

я люблю тебя. Сейчас разбираю пыльные книги, кое-что привезу, объелся старыми номерами «Entomologist». Я люблю тебя, мое счастье. Мне везет – первый человек, который пришел в воскресенье в гости, оказался энтомологом: вообрази, моя душа, как мы с ним раскалялись; в четверг он мне будет показывать в музее знаменитую коллекцию Papilio. В Пюдольской губ. он поймал совершенно черного podalirius, – pendant к черному махаону в Коллекции ЕЕюнглера. Сегодня вечером идем всей семьей в кинематограф, а завтра я приглашен в «Скит поэтов». Мой вечер 20-го. Я люблю тебя. Вчера был старенький генерал, похожий на Янингса в «Пюследнем приказе», и читал свой рассказ («мраморная ножка выглядывала из-за атласного одеяла» и т. п.). Кирилл замечательно красив и изящен, много читает, сравнительно хорошо образован, очень веселый. Он рассказывает, что брат мой Сергей (приехавший толстым, с жирной шеей, похожим на Шаляпина) спрашивал его, где тут кафе, где встречаются мужчины, и очень советовал ему нюхать кокаин. К счастью, Кирилл совершенно нормален. Ольги я еще не видел, она с Петкевичем на даче. Елена же очаровательна, а *Петя* «при мне» очень мил (Е. К. и мама его недолюбливают, и он говорит «коклюш» и «завидно»). Я люблю тебя. Петкевич, оказывается, один из лучших здешних шахматистов (тоже повезло мне). Семья моя поняла «Соглядатая» в том смысле, что герой в первой главе умер, а душа его потом перешла в Смурова. Кстати, насчет души, – мне очень без тебя скучно, моя душенька. Боксуша на меня смотрит мутными глазами и продолжает не узнавать. Тут полагают, что он меня принимает за возвратившегося Сережу. Мама так бодра, что диво даюсь. Она увлекается «Christian Science» (не так, конечно, как Mrs. Bliss), и астма прошла, и нервы в порядке, так что это следует очень и очень одобрить. Она и Е. К. все чудесно для меня устроили, тома «Entomologist» лежали на моем ночном столике, специально были куплены марки, новые перья, бумага для моих писем к тебе, моя душа. Я тебя люблю. Жильцов тут две четы и еще пресловутая чешка, очень безобидная и милая старая дева. Погода ужасная, святые гадят. Мама на кухне спрашивает у Боики, «пойдет ли он сейчас гулять с Володей?», но тот молчит. Счастье мое, целую тебя, мою милую, мою душеньку. Скажи Аняте, что я ее очень люблю. Держи ушко востро насчет рецензий, казачьих хоров и т. д. Напиши мне, напиши, здорова ли ты, нет ли болей и вообще. «Собака больше ждать не может», – доносится с кухни. Счастье мое.

В.

87. 16 мая 1930 г.

Прага – Берлин

Мой нежный зверь, моя любовь, мой зелененький, с каждым новым бесписьменным днем мне становится все грустнее, поэтому я тебе вчера не написал и теперь очень жалею, прочитав о лебеди и утках, моя прелестная, моя красавица. Ты всегда, всегда для меня тиргартенская, каштановая, розовая. Я люблю тебя. Тут водятся клопики и тараканы. Только потушил вчера – чувствую на щеке шмыглявое присутствие, усатенькое прикосновение. Зажег. Тараканша. А на днях был на вечере «Скита поэтов». Возобновил дружественные отношения с Чириковым, Кадашевым, Немировичем-Данченко. Он очень старенький, Немирович. Познакомился с лысым евреем (тщательно еврейство свое скрывающим), «известным» поэтом Ратгауз. Стихи читал Эйснер, под Гумилева, с «краснорожими матросами», «ромом» и «географической картой», полные новейших клише, очень звонкие, одним словом, ты понимаешь, какая это гнусность. А с Ратгаузом я совершенно не знал, о чем говорить, неловко говорить с человеком, чье имя стало нарицательным для дурных поэтов. Он мне сказал между прочим: «Вот вас сравнивают со мной...» Трогательно и гадко. Читали много молодых поэт(ов) и поэтесс, так что я себя чувствовал как на наших «поэтических» собраниях, все то же самое, тошно. Целую тебя, мою милую, мою душеньку. Мне пришло в голову, что Baudelaire никогда в действительности не видел «jeune elephant», правда? Ну конечно, были всякие «среди нас присутствует...», «наш дорогой гость...» и т. д. При этом Кирил становился малиновым. Но интереснее всех поэтов и писателей был для меня Федоров, еще один энтомолог, очень страстный и знающий, мы с ним сразу соловьями запели, к некоторому недоумению присутствующих. Подумай, недавно его большую коллекцию продали за долги, он совершенно нищий. Не знаю, буду ли я читать «Пильграма» во вторник. Первую главу «Согли» прочту непременно (он у мамы есть). Ольга еще не изволила явиться. Прочту несколько стихов. Кирилл хорошо учится. Никаких технических позывов у него нет. Он хочет быть естественником, бороться, например, с малярией в Африке. Были всей семьей в кино, видели ту картину, о которой так забавно говорил Шерман (кольцо, сползающее с пальца по мере «паденья» женщины). Мама мне подробно подтвердила то, что об одном старике и одной старухе рассказывала Раиса. Мама это, оказывается, таила пятнадцать лет, и был один очень крупный скандал в Берлине. Генерал Долгов (читавший свой рассказ), как бабушка, говорит «spleutni». Сейчас вошла Еленочка и с невинным лицом спросила, где находится Фламандия. Ах, мое счастье, как мне нестерпимо без тебя. Ты моя жизнь. Трудно будет выдержать приближение к анхальтерову вокзалу. Ты деньги получила? Милое мое, как я тебя целую...

В.

88. 17 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Луитпольдитрассе, 27

Здраствуйте, моя радость,

Горлину можешь сказать, что 1) на их вечере выступать не буду – пусть сами выгребают, 2) будут ли они выпускать сборник в «Слове» или в «Петрополисе», – все равно участвовать не буду – я не молод и не поэт. Шерману передай, что мне очень понравилась его статья об Иване Алексеевиче. Поклонись хозяевам. Купи, моя любовь, «Поел, нов.» от четверга (у этого самого, как его – ну ты знаешь, – не могу сейчас вспомнить). Был я вчера в музее, мне показывали прекрасные коллекции – не такие, конечно, полные, как в Берлине, но это чехам сказать нельзя (вспомнил, – Ляковский), и много у них неверно названо. Только что был Федоров, о котором я вам писал, мое счастье. Он очень советует ехать в Варну, там чрезвычайно дешево и много бабок. Дорога отсюда стоит 20 марок, всего – от Берлина – значит, 40, на две персоны или зверя – 80, туда и обратно – 160, а комнату можно за 20 (для двух животных) в месяц, и пища стоит на двух в день 1 марку, – итого, нам нужно с тобой на месяц жизни и путешествие марок 250 (широко). Мы поедем, я думаю, в первых числах июня. Змей там нет, а Нем. – Данченко в два счета устроит визу.

Я тебя люблю, – прямо смешно, как ты мне недостаешь, моя душенька. Тут на трамвайных остановках ярко-голубые круглые фонари, много аспидно-черных домов, очень узкие панели и нельзя курить в прицепном вагоне трамвая. На днях отправляемся к Бобровским. Кирил образован, прекрасно знает литературу и влюблен в очень миленькую барышню. Мама помнит Масальского по Петербургу, о том, что он сидел в тюрьме, здесь никто не знает, так что я всем рассказываю, с подробностями, скажи это Аняте. А на самом деле молчу как рыбка или говорю только хорошее. Продолжаются рауты у Крамаржа, с хозяевами не разговаривают, а только жрут, и недавно Кизеветтер подрался с каким-то другим старичком из-за заливного. В одном советском сборнике были мемуары одного комиссара, он рассказывает, между прочим, как раздавали вещи из нашего дома и как он взял себе китайского болванчика с кланяющейся головой. Я так его помню, этого болванчика. Были ли вы у Миш, моя красавица, что вы поделяете, вообще? В Варне дивное морское купанье. Мы там будем ловить *Rapilio alexanor*. Мне Федорова любит целовать гусениц в головку, это у нее прямо вошло в привычку. Как только получишь деньги, пришли мне что-нибудь, скажем десять-пятнадцать марок, кроме путевых 20. Веду сейчас переговоры с одним чешским издательством насчет «Машеньки», не знаю, выйдет ли (это через чешку, живущую у мамы). Милое мое, я вас целую. Как ваше здоровье? Да, я тебя люблю, я тебя бесконечно люблю. Пожалуйста, пиши мне, а то я опять захандрю и перестану писать. Любовь моя, ларентия моя *teplovata*.

В.

89. 19 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Лутпольдитрассе, 27

Получил, мой зверь Бусса, ваше краткое и мало тюфистое письмецо. Написал Фондамину, что согласен (хотя я предпочел бы – в смысле денег, – чтобы Пильграм умер в подвале «Последних новостей»). Послал и Фаяру, что следовало. Боксуша продолжает на меня глядеть мутными глазами. Вчера он произвел подряд 157 лайка, мы считали. Сегодня погода пристойная, пойдем гулять. Мне грустно, что ты так мало пишешь, мое бесконечное счастье. Финансы тут кислые, нет денег на марки, мне довольно неловко.

Я тебя обожаю.

В.

90. 20 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Луитпольдитрассе, 27

Моя любовь,

не знаю, какая у тебя служба, ты мне очень невнятно пишешь. Как бы старушку подлюю уличить? (уверена ли ты, что это она украла, – ведь последнее время бывали всякие монтеры, – и где лежала брошка?). Видела ли ты рецензию Адамовича в «П. Н.»? Привезти номер? Сегодня читаю, – прозу и стихи, нужно набрать на полтора часа по крайней мере. Я уже писал тебе, моя любовь, что именно буду «зачитывать». Я пороюсь в архиве, ты ж попробуй достать недавний № «За свободу», где обо мне что-то пишет Нальянч. Становится немного сложна эта погоня за статьями обо мне, не прекратить ли. В конце концов я не актриса. Моя любовь, мне делается без вас все невозможнее и невозможнее. Я вернусь в воскресенье, 25-го вечером, – кажется, в 11, – я еще напишу точнее. Подтверждаю твое почтенное с деньжатами. Теперь буду чаще писать, любовь моя. Третьего дня гуляли, был дивный бледно-солнечный день, мы взобрались на холм неподалеку от нас, и внизу был виден целый полотняный городок – бродячий цирк, – и оттуда был слышен густой рев тигров и львов, – и поблескивали карусели (а на всех заборах реклама: зеленые оскаленные тигры и между ними отважный усач с брандербургами). Я снова был в энтомологическом музее, и Обенбергер – очень болтливый жуковед – поносил Германию и говорил, что немцы *sont pires que les juifs*. Русская колония тут тоже, говорят, черновата. А Ольга до сих пор не является, зато был Шаховский, который снова женился. Душа моя, скучаете ли вы без меня? Я целую вас. Поклонитесь Анюте, пожалуйста, и Мишам. Завтра тебе напишет мама. Сейчас моют Боксу. Мама помолодела, бодра, весела, – когда мы гуляли, я все любовался, как она хорошо ходит и какие у нее изящные ноги – в серых чулках. Она утверждает, что это все от Крышчен Саянс. Да, мое счастье, я скоро вас увижу. Отчего ты мне ничего не пишешь про Варну. I thought you would jump at it (ухватишься). Прочел вчера «Les Caves du Vatican» А. Gide'a, ужасная чепуха, но местами хорошо написано. Мне не терпится засесть снова за романчик. Посылаю тебе статейку, мама переписала. Я очень счастлив, что ты существуешь, моя красавица, – но если служба утомительна – берегись! Я очень счастлив; без тебя мир немного осунулся, но все-таки я знаю, что ты есть, и поэтому я все-таки счастлив. Как я тебя целую!

В.

91. 22 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27

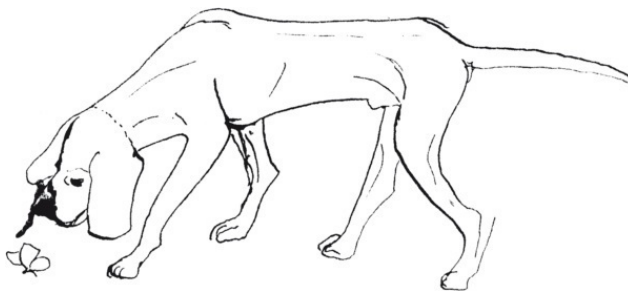
Моя душа,

очень бодренько тебе пишу опять, хотя от тебя neither rumour nor smell. Кстати, выписываю для тебя из Киплинга следующее: «Do you know the pile-built village where the sago-dealers trade. —

Do you know the reek of fish and wet bamboo? – Do you know the steaming stillness of the orchid-scented glade when the blazoned, bird-winged butterflies flap through? – It is there that I am going with my camphor, net, and boxes, to a gentle, yellow pirate that I know – To my little wailing lemurs, to my palms and flying-foxes, For the Red Gods call me out and I must go!» Особенно хорошо – «flap». Если от тебя завтра – а сегодня четвержок – ничего не будет, я и последую зову Красных Богов. А вот про нас с тобой: «*She was Queen of Sabaea – And he was Asia's Lord – But they both of 'em talked to butterflies When they took their walks abroad!*» Вчера было у нас к ужину много гостей, Панина и Астров, чета Горн, чета Ковалевских, я читал «Университетскую поэму», было всего 13 человек.

Я выезжаю, моя душка, 25-го, в 2.47 и буду на Ангальтере в 10.15. Попрошу меня встретить, – конечно, solo.

Я не нашел среди статей моего отца статью о Волковыском. А № «Возрождения» ведь, кажется, Шерман обещал достать? Очень аппетитно напротив рабочие заполняют черепицами крышу. Я вас очень люблю, моя душка.



Личико не очень вышло. Сегодня солнечно. Я заснул вчера в половину шестого, когда уже воробьи пели. Думали нынче отправиться в деревню к Бобровским, но не поедем. Я дал в здешнюю русскую газету «Неделя» три стихотворенья – старых – для вкрапления в статейку о моем вечере. Из берлинских лиц был только Троцкий. Я люблю тебя, – невыносимо и очень, очень нежно.

В.

92. 23 мая 1930 г.

Прага – Берлин, Луитпольдитрассе, 27

Здравствуй, моя душа. Я люблю тебя. Ни тогда, когда я был в Праге без тебя, ни тогда, когда ты была в ВВ[^]еп^е, мне не было так без тебя нестерпимо, как этот раз. Это, вероятно, объясняется тем, что я все больше и больше тебя люблю. Вчера был мой вечер, много народу, я прочел 10 стихотворений (все боевики, конечно), одну главу из «Соглядатая» – первую – и «Пильграма». При этом высосал две кружки пива. Астров сначала многословно обо мне поговорил и потом дал мне № «России и слав.» со статьей Глеба, и там я узнал его фразы, ибо они были карандашиком отмечены им в статье, он прямо оттуда черпал и потом, очевидно, забыл стереть. Познакомился с массой людей, писал в альбомы, улыбался и т. д. На вечер явилась Ольга с мужем, который, оказывается, один из лучших пражских шахматистов. Вообще, было довольно весело, – но вас не было, моя душка. Познакомился с Аксентиевым, который, не зная, что Вишняк написал мне о прекращенье «Третьего Рима», сказал, что Иванов дал только «отрывок». Он очень приглашал в Париж. Статья Адамовича в «П. Н.», как всегда, сдержанная. Зато милый Шерман написал прелестно. Очень поблагодари его демапар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.